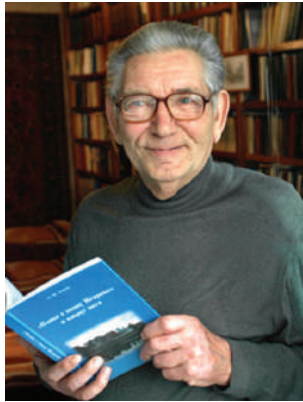


А. М. Ломов

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ



Анатолий Михайлович Ломов (1935–2018) – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Воронежского государственного университета (1983–2004). Известный учёный, автор многочисленных трудов по синтаксису русского языка и аспектологии. Широкое признание лингвистической общественности в России и за рубежом получили его работы «Очерки по русской аспектологии» (1977, 2021), «Основы русской грамматики» (1983, в соавторстве с И. П. Распоповым), «Типология русского предложения» (1994, 2021), «Русский синтаксис в алфавитном порядке» (2004).

В течение многих лет А. М. Ломов активно занимался анализом русского памятника «Слово о полку Игореве», которому посвящены монографии «Слово о полку Игореве» и вокруг него» (2010), «Слово о полку Игореве» и его автор» (2016, 2020, 2022).



А. М. Ломов
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ



Язык покоится на стандартах и стереотипах, выявление и квалификация которых составляют главное содержание любого лингвистического исследования.

А. М. Ломов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

А. М. Ломов

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2023

ББК 81
УДК 800 (063)
Л75

С о с т а в и т е л и:

кандидат филологических наук, доцент кафедры
перевода и профессиональной коммуникации
Воронежского государственного университета *Т. М. Ломова*;
кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка гуманитарных факультетов
Воронежского государственного университета *П. Б. Кузьменко*

Автор предисловия –

кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой издательского дела,
декан филологического факультета ВГУ *Ж. В. Грачева*

Р е ц е н з е н т ы:

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
романской филологии ВГУ *В. В. Корнева*;
кандидат филологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой
русского языка ВГУ *С. А. Чуриков*

Ломов А. М.

Л75

Избранные труды / А. М. Ломов ; сост.: Т. М. Ломова, П. Б. Кузьменко ; авт. предисл. Ж. В. Грачева ; Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2023. – 133 с.

ISBN 978-5-9273-3627-2

Книга представляет собой сборник опубликованных в разные годы фундаментальных статей известного лингвиста А.М. Ломова. Вниманию читателя предлагаются эвристические подходы к систематизации грамматических явлений, размышления о судьбе великих русских лингвистов, а также новые приемы анализа «Слова о полку Игореве».

Для специалистов по языкознанию и литературоведению, студентов-филологов, учителей русского и иностранных языков, а также философов и логиков, интересующихся проблемами современной лингвистической науки.

Надеемся, что сборник будет интересен всем, кто любит отечественную науку.

УДК 81
ББК 800(063)

ISBN 978-5-9273-3627-2

© Ломова Т. М., Кузьменко П. Б., составление, 2023
© Грачева Ж. В., предисловие, 2023
© Воронежский государственный университет, 2023
© Оформление, оригинал-макет.
Издательский дом ВГУ, 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обращение к научному наследию Анатолия Михайловича Ломова, представленному вашему вниманию в сборнике «Избранные статьи», было обусловлено желанием составителей познакомить читателей с идеями выдающегося воронежского лингвиста, высказанными им в разные годы жизни и далеко не всегда услышанными научным сообществом. Это во многом было предопределено тем, что они нашли отражения в разрозненных изданиях, тиражи которых зачастую были весьма невелики.

Анатолий Михайлович Ломов – советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации – родился 11 марта 1935 года в селе Чернавка Панинского района Воронежской области. В 1958 году с отличием окончил филологическое отделение историко-филологического факультета ВГУ, а в 1965 году – аспирантуру ВГУ. В 1966 году ученый защитил кандидатскую диссертацию «Глагольные конструкции с зависимым членом в функции объекта» под руководством профессора В.И. Собинниковой, а в 1978 году – докторскую диссертацию «Аспектуальные категории русского языка и их функциональные связи». В 1983 году А.М. Ломов возглавил кафедру русского языка Воронежского государственного университета.

В центре научных интересов А.М. Ломова практически всегда находилась грамматика русского языка: это и взаимодействие семантико-функциональных категорий (подсистем) в процессе их функционирования (в частности, ученый рассматривает глагольный вид сквозь призму его связей с категориями времени и модальности); это и проблемы синтаксиса (прежде всего, весьма смелый перевод синтаксической систематики на содержательный (семантико-функциональный) уровень, что нашло отражение в монографии «Типология русского предложения» (1994) и в словаре-справочнике «Русский синтаксис в алфавитном порядке» (2004)).

В какой-то мере представленный сборник позволяет проследить движение мысли ученого: статьи, помещенные в нем, выстроены в хронологическом порядке. Между первой статьей сборника «Газета и разговорный стиль» (1969) и последней, изданной в год смерти А.М. Ломова, – «И.П. Распопов: человек, ученый, педагог» (2018) проходит 50 лет (!). Читая страницу за страницей этого сборника, словно листаешь книгу интеллектуальной жизни ученого.

Первые статьи «Газета и разговорный стиль», «Диалог в системе преподавания разговорной речи иностранцам» (совместно с В.И. Дьяковой), «О характере использования разговорных средств в языке газеты», «Письменные эквиваленты разговорных конструкций в языке газет» посвящены разговорной речи, которая и в XX, и в XXI веке оказывала огромное влияние на литературный язык. Существовавшие когда-то параллельно, две функциональные формы языка «встретились», и результатом этого стало рождение некоего нового явления. А.М. Ломов это почувствовал в самом начале своего научного пути. В какой-то мере это было обусловлено его журналистской деятельностью: с 1959 по 1962 год он работает в Верхнекарачанской районной газете, где пройдет путь от литературного сотрудника до редактора. В течение этих лет, читая тексты журналистов глубинки, он не перестает наблюдать за процессами, происходящими в языке газеты и позднее в своей статье напишет о появлении особого «газетного типа письменной речи».

Не обошел своим вниманием Анатолий Михайлович и методику преподавания иностранцам, что, вероятно, было вызвано в том числе еще одним фактом его биографии: с 1977 г. по 1982 г. он заведует кафедрой русского языка для иностранных граждан ВГУ. Ученый обращается к важной проблеме преподавания иностранцам «живого» русского языка, включающего новые процессы, порожденные разговорной речью.

Далее в сборник помещены статьи, в которых автор апеллирует к лингвистическим проблемам, носящим фундаментальный характер. Их решение не раз становилось предметом острых дискуссий ведущих лингвистов разных эпох. Одна из таких проблем освещена в статье «Части речи в их отношении к предложению». А.М. Ломов останавливается на характеристике слабых сторон принятой

номенклатуры частей речи, на поиске устремлений, которые могли бы сделать классификационный принцип частей речи, заложенный в самом языке, «более прозрачным» (а не навязанным исследователем). Ученый показывает, что категоризация частей речи имеет прямую связь с предложением (как, соответственно, предложение с частями речи) и что слова различаются не только по характеру частеречных значений, но и по способу номинации денотата.

Статьи «Лингвистическая наука: прошлое и настоящее» и «Лингвистика и аналитическая философия» посвящены решению вопроса, в чём состоит сущность явления, именуемого научным прогрессом, как осуществляется движение научной мысли, в том числе и в лингвистической науке. А.М. Ломов показывает, что, несмотря на своё концептуальное многообразие, лингвистика имела дело с тремя парадигмами: элементарно-таксономической, системно-структурной и номинативно-прагматической, – и, характеризуя каждую из них, подробно останавливается на их становлении и развитии.

К вопросу преобразования лингвистикой и концептуального аппарата, и методики обработки эмпирического материала в соответствии с новыми идеями, пришедшими из философии, обращается А.М. Ломов в статье «Лингвистика и аналитическая философия». Он показывает, что не только лингвистику интересует, что происходит в философии, но и сама философия включает в круг своих исследовательских интересов феномены языкового плана. Прежде всего это относится к так называемой аналитической философии. Ученый обращается к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна, к работе крупнейшего представителя современной аналитической философии Я. Хинтикке «Логико-эпистемологические исследования» и др., чтобы показать, как язык осуществляет сложный процесс «мировоспроизводства».

В статье «Грамматика: содержание и объем понятия» А.М. Ломов обращается к «вечному», базовому вопросу о том, что такое грамматика и какие явления должны квалифицироваться как грамматические (свои размышления на эту тему ученый продолжит в статье «Русистика сегодня», представленной в сборнике далее). Логичное, аргументированное решение, которое предлагает уче-

ный, безусловно, должно быть услышано лингвистическим сообществом, хотя сегодня, к сожалению, свидетельств этому немного. В статье А.М. Ломов сначала показывает, как менялось в далёком и недалёком прошлом наше понимание и грамматической науки в целом, и отдельных её составляющих, анализирует, что включалось в грамматику на разных этапах развития лингвистики, а затем излагает свой взгляд на проблему. В итоге А.М. Ломов приходит к выводу о том, что общее построение грамматики должно получить новый вид, а именно: она должна состоять из четырёх разделов, соответствующих четырём основным уровням языка: уровням звука, морфа, слова и предложения. Эти разделы допустимо именовать, опираясь на существующую научную традицию, «Фонетикой», «Морфемикой», «Лексикологией» (или, может быть, «Лексемикой») и «Синтаксисом». Каждый раздел предполагает двучастность: в первой части выявляются и квалифицируются функциональные и семантико-функциональные элементы: в фонетике – это фонемы, в морфемике – морфемы; в лексикологии (лексемике) – части речи, в синтаксисе – семантико-функциональные типы предложений. Вторая часть носит более конкретный характер, поскольку ориентируется на характеристику материальных явлений. Однако ядром этого описания станет *сочетаемость* единиц каждого уровня. В фонетике она будет изучаться в рамках фонотактики, в морфемике – морфонологии (или, может быть, в рамках морфотактики), в лексикологии – во фразеологии (в том понимании термина, которое предложено М.М. Копыленко и З.Д. Поповой), в синтаксисе – в синтактике (при условии, что этим термином будет обозначаться сочетаемость предложений в процессе порождения текста). Таким образом, по мнению А.М. Ломова, грамматика как наука об общих принципах устройства языковых уровней будет чётко противопоставлена другой науке – науке об использовании языка говорящим человеком.

Размышляя о языке, А.М. Ломов находится в постоянном диалоге и с русскими, и с зарубежными лингвистами. Особое место среди них занимает Владимир Иванович Даль, итогом размышления о котором стала статья «Две жизни одного человека». И начинается размышление о творце «Толкового словаря живого великорусского

языка» с рассказа о его духовном родстве с Пушкиным, у постели которого до самой кончины находился Даль. Анатолий Михайлович удивительным образом метафорически соединяет их, обращаясь к образу-метафоре «выползина», сути которого не станем раскрывать, чтобы не лишать удовольствия читателя сделать это самому. Из текста мы узнаем не только о трогательной дружбе Даля и Пушкина, но и о той стороне жизни исследователя, которая мало известна широкому читателю: перед нами предстает мужественный воин (участник трех войн), талантливый врач (доктор медицины В. Даль был отмечен орденом святой Анны третьей степени и Георгиевской медалью на ленте), бескорыстный чиновник особых поручений при военном губернаторе, затем чиновник особых поручений при министре внутренних дел, статский советник (почти генерал!)... Таков первый, богатый событиями этап жизни этого удивительного человека. Следующие отпущенные ему судьбой 13 лет В. Даль посвятит самому главному. Словарю! Об этом периоде пишет А. М. Ломов очень тепло, с глубоким уважением, пристально вглядываясь в страницы жизни великого ученого. Но особо останавливается на том, как своим словом-делом Владимир Иванович Даль послужил и сегодня продолжает служить своему Отечеству.

Концептуальной и актуальной для современного синтаксиса стала статья «Предложение и высказывание», в которой А.М. Ломов по-новому квалифицирует понятие «высказывание» и акцентирует внимание на его отличии от предложения, указывая на обязательную включенность высказывания в конкретную речевую ситуацию, без чего оно как таковое не существует, и на возможность кардинального формально-грамматического преобразования типовой структуры, обычно свойственной предложению, в процессе этого включения. Таким образом, ученый показывает, что предложение и высказывание – явления разные, поэтому необходимо вести отдельную их систематизацию, но они имеют общее ядро, без установления характера которого практически невозможно их квалифицировать.

В статье «Языковая история и проблема интерпретации синтаксических единиц» А.М. Ломов обращает внимание исследователей на то, что лингвистика, продолжая жить по старым канонам,

не учитывает синхронию и диахронию при описании одного и того же явления. Это становится тормозом научного прогресса. Ученый показывает, в частности, на примере интерпретации безлично-инфинитивных предложений, что время раздельного, нескоррелированного описания современного состояния синтаксических единиц (пусть даже не всех, а лишь некоторых из них) и их исторических судеб уже миновала. Поэтому научная истина в синхроническом описании в целом ряде случаев может быть установлена лишь при условии пристального внимания к историческому развитию языкового явления.

К решению фундаментального вопроса – квалификации предложения и высказывания – А.М. Ломов вновь возвращается в статье «Размышление о высказывании». Ученый показывает, что принципиальное расподобление этих двух явлений, номинации которых в современной науке порой выступают как синонимичные, позволяет по-новому взглянуть на многие не решенные в синтаксисе вопросы. А.М. Ломов пишет о том, что высказывание должно трактоваться как вариантное явление, противопоставленное инвариантному явлению – предложению. Он указывает, что для высказывания обязательна его включенность в речевой акт (без чего оно существовать вообще не может) и что в высказывании возможно кардинальное преобразование формально-грамматической структуры соответствующего предложения. Несколькими штрихами А.М. Ломов очерчивает направление, в котором должен развиваться синтаксис дальше: он указывает, какие явления должны быть отнесены к предложению, а какие – к высказыванию. Чтобы границы между предложением и высказыванием в ряде случаев не оставались размытыми, по мнению А.М. Ломова, «нужны еще годы и годы размышлений, чтобы возникающие сейчас неясности развеялись как туман».

Вместе с изучением синтаксических проблем А.М. Ломов с особой любовью занимается анализом великого русского памятника «Слово о полку Игореве», поставив перед собой цель: выяснить время его создания, объяснить ряд «темных» мест памятника и назвать имя автора, которое было так несправедливо утрачено. В предлагаемой статье сборника ученый обращается к рассказу о

функционировании в тексте «Слова» особого рода приема, который он называет «приемом ассоциативного ввода внетекстовой информации». А.М. Ломов показывает, как действует этот прием, указывая на соответствие его формуле «повод-намёк»: «текст отталкивается от упомянутого факта и лишь вскользь называет другой факт, содержание которого раскрывается не путем обычного текстового описания, а путем извлечения соответствующих знаний из недр памяти читателя, хорошо знакомого с русскими летописями и другими историческими источниками». Ученый обращает внимание и на тот факт, что этот прием был характерен и для писателей XX века, среди которых один из его любимых авторов – В.В. Набоков. А.М. Ломов замечает, что «конечно, у В.В. Набокова прием оказался основательно модифицированным, но в основе своей он остался тем же, что и у автора «Слова», поскольку предполагает совместное творчество писателя и читателя». Итогом многолетних размышлений А.М. Ломова о «Слове» станет его сенсационная монография «Слово о полку Игореве и вокруг него», вышедшая, как и указанная статья, в том же 2010 году (информация о монографиях А.М. Ломова представлена в сборнике).

Последняя статья издания, опубликованная в 2018 году, станет *последней* статьей в жизни великого ученого. В ней он расскажет о своем друге и учителе Игоре Павловиче Распопове, имя которого для лингвистов Воронежа всегда стоит рядом с именем Анатолия Михайловича Ломова («Я и Распопов как-то подошли друг к другу», – так он определит причину их единства). Да, «подошли» друг другу во всем: в мудрости, в честности, в таланте, в любви к науке. Опубликована статья будет в городе Липецке в материалах конференции со знаковым названием «Учитель – начало всех начал: школа в современной России».

Годы, проведенные рядом с И.П. Распоповым, А.М. Ломов назовет «счастливыми» и «радостными». Анатолий Михайлович расскажет о том, как развивался научный дар Распопова и что он сделал для науки (кстати, Ломов сообщит и о том, что Распопову принадлежит прекрасный стихотворный перевод «Слова о полку Игореве», напечатанный в «Учёных записках Куйбышевского пединститута!»).

Воспоминания о бушующих в науке того времени страстях возвращают А.М. Ломова в сегодняшний день. И как горько прозвучат его слова о состоянии современного синтаксиса! Не могу их не привести: «Но посев новых идей, который И.П. Распопов вменял в обязанность следующему поколению учёных, неожиданно прекратился. Юношеский лингвистический задор 60-х – начала 70-х годов совершенно угас, и синтаксические реки и ручейки в наши дни почти полностью пересохли. В этом убеждает анализ квалификационных работ молодых учёных. В них синтаксическая проблематика почти не обсуждается: они сплошь посвящены каким-то частным коммуникативным проблемам. Не буду говорить о причинах этого: такие причины и мне самому не вполне ясны». Да, горькая истина...

А.М. Ломов в этой статье словно подводит итоги жизни, воскрешая воспоминания о своем друге-учителе. Скорую встречу с которым словно предчувствует в том мире, где «облака плывут, облака», как в песне, которую пел тихим, задушевным голосом Распопов. А Ломов слушал.

Когда читаешь статьи этого сборника Анатолия Михайловича, то все время слышишь его голос. Тихий, низкий, чуть ироничный, с хрипотцой от постоянного курения. Думаешь с ним в такт. И сложные научные задачи вдруг становятся для тебя ясными, а их решения обретают стройность. И вспоминается его радостное восклицание: «Боже мой, как же интересно то, чем мы занимаемся!..».

Доцент филологического факультета
Воронежского государственного университета
Грачева Жанна Владимировна

ГАЗЕТА И РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ

(Впервые опубликовано: «Вопросы журналистики». – Воронеж, 1969. – Вып. 1. – С. 152–163)

I

Несмотря на много раз уже проводившееся с достаточной строгостью разграничение форм речи – устной и письменной – стилей – книжных и разговорного, термины «устный», «разговорный», «письменный» и «книжный» продолжают употребляться зачастую крайне недифференцированно [Костомаров 1965]. Разнобой, а порой и путаница в их употреблении объясняется целым рядом различных причин и в первую очередь сложностью вопроса о соотношении форм речи и стилей [Сиротинина 1966].

Известно, что каждый из стилей в свое время сформировался в рамках какой-то определенной формы речи – письменной или устной, но со временем раздвинул сферу своего функционирования и сейчас уже не может считаться закрепленным за какой-то одной формой речи [Смирницкий, Ахманова 1954]. Однако констатация этого общепризнанного факта вовсе не означает, что стили в настоящее время являются безразличными к форме речи и могут быть описаны независимо от нее. Мыслимое как инвентарное, описание положительных и отрицательных характеристик того или иного стиля без «привязки» к форме речи, на наш взгляд, не может быть полным, так как оно игнорирует различия форм речи. А между тем эти различия реально существуют и никак не могут быть сведены к одним лишь особенностям материальных средств осуществления речевого акта. Разница здесь глубже, поскольку приходится учитывать и условия протекания этого речевого акта [Холодович 1967].

Вполне понятно, что в процессе исторического развития языка каждый стиль, складываясь в рамках той или иной формы речи, вырабатывал присущую ему систему средств выражения применительно к данной форме речи. И поэтому при переносе, «пересадке» стиля из письменной сферы функционирования в устную (или наоборот) мы имеем дело не с автоматической заменой од-

них материальных средств манифестации речевого акта другими, а со сложным процессом установления точек соприкосновения в характеристиках устного и письменного типов речевого контакта, с подбором и выработкой эквивалентных форм, лишь приблизительно (но не точно!) воспроизводящих те или иные черты данного стиля. К тому же зачастую приходится мириться с наличием некоего «остатка», который при переносе не находит себе эквивалентов. В силу всех указанных причин представляется целесообразным различать для каждого стиля первичную речевую форму функционирования, где этот стиль полнее всего выявляет свои особенности, ту форму, в рамках которой он сформировался и наиболее часто употребляется. Одновременно можно говорить о вторичной речевой форме употребления стиля. Последняя проблема, связанная, в частности, с особенностями функционирования разговорного стиля во вторичной для него форме речи – письменной, имеет, очевидно, несколько различных аспектов – в зависимости от типа письменной речи и целевых установок пишущего. В одних случаях, например, в языке художественной литературы, мы имеем дело с попыткой более или менее полного и точного письменного воспроизведения разговорного стиля (так как он представлен, скажем, в речи персонажей). В других случаях речь идет об использовании лишь отдельных, наиболее ярких особенностей разговорного стиля. В настоящее время, когда наблюдается отказ от употребления в стилях письменной речи одних лишь нейтральных единиц, когда основной чертой стилистического статуса становится стремление «к отбору тех окрашенных элементов, которые действительно способствуют... простоте, лаконичности, экономности выражения» [Винокур 1968: 14], очень часто в качестве маркированных единиц на фоне нейтральных языковых явлений в том или ином стиле используются разговорные средства выражения.

Экспансия разговорного стиля дает о себе знать во всех без исключения стилевых системах современного русского языка. Но, вероятно, наиболее «восприимчивым» в этом отношении оказывается язык газеты (Здесь и далее термин «язык газеты» употребляется в значении: “газетный тип письменной речи”).

II

Известно, что газета как одно из средств массовой коммуникации обладает целым рядом особенностей. Ее отличает прежде всего ориентированность на массового читателя, т. е. на нейтральную лингвистическую среду, состоящую из людей с самыми разнообразными стилистическими навыками [Винокур 1925]. Для газеты характерны широта и разнообразие тематики, что обусловлено самой действительностью, кругом тех вопросов, которые поднимаются на ее страницах. Газета имеет действенный характер, поскольку она ставит своей целью не только проинформировать о чем-то читателя, но и «побудить его к определенным чувствам, поступкам, воздействовать на волю, чувства», убедить читателя в том, что сообщается или о чем рассказывается в газете [Чижик-Полейко 1961: 86]. Немаловажное значение имеет оперативность газеты в подаче материала.

Все эти особенности газеты, естественно, не могут не наложить своеобразного отпечатка на ее язык. Иными словами, они в какой-то мере предопределяют характер отбора языковых средств на газетных страницах. Так, например, широта и разнообразие тематики газеты практически делают невозможным употребление в газетном языке средств какого-то одного стиля. Соприкасаясь с самыми разнообразными сторонами человеческой деятельности, газета вынуждена использовать если не все, то подавляющее большинство стилей русского языка (именно поэтому кажется не совсем удачным выделение особого функционального – газетно-публицистического стиля), хотя строгого распределения стилей по жанрам и даже отдельным текстам и не существует. Другая особенность газеты – стремление к действенности – требует повышенной экспрессивности языковых средств. Это достигается прежде всего путем использования целого ряда стилистических приемов (например, приема своеобразного стилистического «смещения», т. е. объединения и совмещения «в одном контексте эмоционально-образных элементов, официально-деловых формул, общественно-политической лексики и специальной терминологии, высокой патетической и сниженной разговорной фразеологии, интеллектуальных и экспрессивных элементов» [Костомаров 1967: 18]. Но, пожалуй,

самым эффективным средством остается при этом включение в ткань повествования всякого рода языковых единиц, осознаваемых в языковом чутье говорящих как несущих повышенную экспрессию. В качестве источника пополнения набора экспрессивных средств выражения чаще всего и выступает именно разговорный стиль.

Что же и как используется в газетном языке из разговорного стиля, как, в частности, реализуются здесь особенности разговорного синтаксиса? Очевидно, что далеко не все в разговорном стиле, для которого первичной и основной сферой функционирования является устная речь [Сиротинина 1966], может быть перенесено в газетный язык – язык письменный по форме осуществления. Иначе говоря, далеко не все разговорные синтаксические средства могут входить в фонд экспрессивного газетного синтаксиса. Это обусловлено различными причинами и в особенности, как уже отмечалось, различиями двух форм речи.

Устная речь, как известно, это речь: звучащая; неподготовленная, спонтанная; ситуативная, бытовая; в подавляющем большинстве случаев контактная, предусматривающая непосредственность речевого общения; преимущественно диалогичная [Скребнев 1964, Чижик-Полейко 1961].

Все эти особенности устной речи так или иначе получают отражение в разговорном стиле. Может быть, не совсем верно непосредственно и несколько прямолинейно связывать отмеченные черты устной речи с определенными особенностями разговорного стиля, как это иногда делается, однако недопустимо вместе с тем отрицать тот факт, что форма речи налагает определенный отпечаток на стиль. По наблюдениям О. А. Лаптевой, именно «особенности устной речи... ведут к созданию целого ряда собственно конструктивных трансформаций общелитературных стандартов в разговорном стиле» [Лаптева 1966: 54]. Здесь «вырабатываются свои особые... языковые характеристики, которые приобретают качество внутрискриптовой нормы» [там же].

В частности, нетрудно заметить прямую связь звучащего характера устной речи с широким использованием в разговорном стиле всевозможных бессоюзных конструкций, связь между ко-

торыми осуществляется интонационными средствами. Контактность устного речевого общения, бытовой характер устной речи и связанная с этим ее ситуативность позволяют использовать для передачи информации всевозможные супrasegmentные элементы (жесты, мимику, значимые паузы и т. д.) [Будагов 1967]. Ввод этих элементов в свою очередь дает возможность употреблять разного рода эллиптические структуры, неполные конструкции, которые являются носителями нового, ядра высказывания. Данное же, известное из ситуации, опускается. Именно этим обусловлена сравнительно небольшая глубина предложений в разговорном стиле (5±2 слова).

Легко прослеживается влияние такой черты устной речи, как ее неподготовленность, спонтанность, на языковые особенности разговорного стиля. «Потребность в быстром сообщении вынуждает представлять элементы высказывания, пишет Ш. Балли, – в виде отдельных кусков, с тем чтобы их можно было переварить» [Балли 1955: 84]. Отсюда – своеобразный «рубленный» строй разговорного синтаксиса. Той же причиной обусловлено обилие незаконченных построений, неоформленных фраз, «самоперебивов», самых различных вставок и добавлений [Лаптева 1966]. Эти вставки, изъяснения, добавления осуществляются уже в самом ходе речи.

С невозможностью предварительного обдумывания связано и широкое использование в разговорном стиле всевозможных штампов, языковых клише, которые свободно воспроизводятся каждый раз уже в готовом, «чистом» виде.

Очевидно, можно говорить о влиянии устной речи на порядок слов, разговорного стиля вообще и на характер построения разговорной конструкции в частности. Последней присуще максимальное расчленение данного и нового, когда оба состава представлены, или независимое грамматическое оформление одного имеющегося состава, если второй не выражен [Лаптева 1966].

III

Как уже отмечалось, лишь весьма немногочисленные из этих и других синтаксических особенностей разговорного стиля, связанных с устной формой речевого контакта, могут быть непосред-

ственно перенесены в речь письменную, например, в газетный тип письменной речи. Как правило же, такой перенос невозможен, поскольку в одних случаях это потребовало бы дополнительного описания сопутствующей ситуации, в других – применения более гибкой пунктуационной системы, способной передать на письме богатство интонации, все ее нюансы, в-третьих – использования каких-то заменителей мимики, жестов и т. д. В этих условиях пополнение арсенала экспрессивного синтаксиса идет чаще всего не за счет прямого включения разговорных структур, а путем сближения письменных – в данном случае газетных – конструкций с разговорными. Поэтому здесь, видимо, целесообразно говорить о выработке письменных эквивалентов (экспрессивных по самой своей природе!) разговорных построений [Лаптева 1967].

Сближение газетных конструкций с разговорными происходит по нескольким линиям. В первую очередь и результативнее всего используется в газете такая особенность разговорного стиля, как сравнительно небольшая глубина предложений. Стремление к разгрузке предложения в газете осуществляется разными путями.

Широко, в частности, используются расчлененные конструкции, называемые обычно парцеллированными:

Ребята эти сегодня нормально живут, спорят. И работают. Много и крепко. Зло и обидчиво. Находя себя и теряя («Комсомольская правда», 1968, 28 февраля); Оказалось, что в гостинице в такую пору жить невозможно. Из-за жары («Известия», 1967, 26 января); Каждая местность, самая маленькая, имеет свой микроклимат. Почти постоянные, господствующие воздушные потоки («Труд», 1967, 26 января).

Сущность парцелляции заключается в том, что исходная (чаще всего довольно громоздкая) конструкция расчленяется на несколько частей. Первая часть оформляется в грамматическом и смысловом отношении как самостоятельное, законченное предложение. Вынесенная за точку парцеллированная часть (одна и более), связанная с первой грамматически и по смыслу, воспринимается как неполное предложение. Поскольку внутри этой части устанавливается собственная восходяще-нисходящая интонация, поскольку

здесь имеется собственное фразовое ударение [Чижик-Полейко 1966], парцеллируемый отрезок оказывается носителем важного акцентуемого сообщения.

При таком членении последовательность синтаксической связи компонентов, характерная для исходной нерасчлененной конструкции, не меняется (в большинстве случаев); она как бы естественно прерывается в первом предложении и затем завершается в парцеллируемой части без повторного воспроизведения синтаксической схемы первой части.

Как правило, парцелляция осуществляется интонационными средствами, сигнализатором которых на письме является точка. Интонационный разрыв может быть усилен разрывом позиционным, изменением порядка слов исходной нерасчлененной конструкции, повторением в парцеллируемой части слова или группы слов главной части:

Каждое утро мы выходим из подъезда нашего дома. Сначала он, за ним я. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и субботу («Неделя», 1964, 17-24 декабря); Тут же проголосовали – исключить. Поспешно, без совета с людьми, ее знающими («Комсомольская правда», 1967, 14 января); И вдруг песня. Песня без слов («Советская Россия», 1967, 14 января).

С помощью всех этих основных и дополнительных средств может парцеллироваться практически любой член предложения, а также зависимые части сложноподчиненных предложений. Что же касается словосочетаний, уменьшение их глубины идет несколько иными путями. Широко используются, например, сокращенные словосочетания, образовавшиеся на базе полных (*комиссия по проверке качества – комиссия по качеству; обсудить вопрос на заседании правления – обсудить вопрос на правлении*) [Шведова 1966]. Допустимо своеобразное «сгущение» управляемой формы словосочетаний в тех случаях, когда «обязательная проекция на нее именно как на некую форму уже содержится в той или иной из введенных... форм, а свое реальное смысловое наполнение эта проецируемая форма получает из ситуации или контекста» [Адномни 1965: 28]. Интересно отметить, что это средство «разгрузки» (как и первое, переносимое непосредственно из разговорной речи

без каких-либо изменений) в газетном языке способно переосмыслиться и использоваться в целях создания иронии:

Поднимут они готового передовика «на щит», звонко на весь свет оповестят о его успехах, призовут равняться и подтягиваться («Комсомольская правда», 1968, 7 февраля).

И, наконец, возможен еще один путь «разгрузки» – употребление вопросно-ответных построений. Будучи по своей сущности выражением совместного добывания знаний двумя и более собеседниками [Гвоздев 1968], эти структуры являются весьма яркой приметой разговорного стиля и охотно используются в газетном языке.

Употребляются самые разнообразные формы вопросно-ответных построений. Одни из них вводятся для оживления какого-либо сообщения, другие выступают как синонимичные параллели к некоторым типам повествовательных предложений, третьи, интересующие нас, позволяют избегать громоздких построений. Так, иногда, например, авторы вводят в изложение вопрос, представляющий как бы повторение (переспрос) того вопроса, который задал невидимый собеседник. И в ответе на этот вопрос часть второго предложения с уже известным, данным опускается. В итоге мы получаем на месте сложной конструкции две – более простого типа:

Почему стало возможным само «это дело»? Потому что райком вовремя не разобрался в существовании вопроса? («Советская Россия», 1968, 3 февраля); Почему они не идут в эти группы? Да потому, что многие не хотят укреплять здоровье вообще, а хотят заниматься конкретным, любимым видом спорта («Известия», 1968, 18 апреля).

Письменные структуры могут сближаться с разговорными и по другой линии. В этом случае на письме может имитироваться некоторая грамматическая неорганизованность разговорных построений, обусловленная невозможностью предварительного обдумывания. Этим и вызвано употребление всякого рода конструкций с нарушенными связями частей:

Это может начаться с малого. Привязанность к ежику в живом уголке или розовые колибри, увиденные в музее. Или встреча с человеком, подобным Петру Петровичу. А станет серьезным де-

лом и поиском на всю жизнь («Комсомольская правда», 1968, 29 февраля); Сорок тонн во Францию, десять – в Канаду, пять – в США. Вагонами, мешками, пакетами: Сирия, Румыния, Алжир, Турция («Советская Россия», 1968, 7 марта).

Нередко в газетном языке употребляются конструкции, приближенные к разговорным по характеру построения, т. е. имеющие отчетливое двучленное построение (если оба состава – данное и новое – представлены). В частности, очень «модными» в последнее время являются так называемые сегментированные конструкции. Их сущность (несмотря на огромное разнообразие типов) [Попов 1964] заключается в том, что одна и та же субстанция выражается дважды: в первой она выступает как субъект, во второй как субъект или объект высказывания (в широком смысле в качестве сегментированных рассматривают конструкции, расчлененные на две, отчетливо противостоящие друг другу и взаимосвязанные части). При этом может повторяться называющее ее существительное, сочетание слов или местоимение:

А что продукция у цеха уже чуть-чуть не та – так как же это доказать? («Известия», 1968, 7 февраля); Девять человек в подвальной комнате – так живут не только в Ноттинг Хилле («Советская Россия», 1968, 10 марта); Говоря откровенно: нас меньше волнуют кадры гидростроителей, техников, монтажников – тут недостатка в рабочих руках нет. Но среднее звено в сельском хозяйстве – животноводы, агрономы, бригадиры, полеводы – здесь для школ непочатый край работы («Учительская газета», 1968, 17 февраля).

И, наконец, стремление к использованию богатого набора интонационных средств разговорной речи в газете проявляется прежде всего в употреблении массы бессоюзных сложных предложений (причинных, условно-следственных, временных и т. д.), в особом порядке слов, предполагающем особое интонирование предложения. Так, наблюдается разрыв определяемого и определения:

Хороший ваш Гриша человек («Комсомольская правда», 1968, 7 марта);

вынос дополнения перед глаголом-сказуемым, когда дополнение является новым в предложении (с точки зрения актуального членения):

Позади вала они костер развели («Комсомольская правда», 1968, 22 февраля);

инверсивное употребление всевозможных обстоятельств:

Ошиблась я тогда («Смена», 1968, 25 февраля).

IV

В заключение отметим, что вряд ли следует говорить о широком вхождении средств экспрессивного синтаксиса, эквивалентных разговорным, в язык газеты вообще. Существуют жанры, например, информационные, где возможность использования этих средств остается минимальной. Очевидно, что полнее всего эти средства могут быть представлены в газетных жанрах бытового характера (очерках, фельетонах, статьях на моральные темы и т. д.), по самому своему характеру допускающих включение языковых средств, близких к разговорным или во всяком случае «похожих» на них. Однако и здесь их распространение не означает полного вытеснения стилевых средств, характерных для собственно письменной речи. При этом, как правило, получается своеобразный сплав элементов письменных (чаще всего нейтральных) и разговорных (или их письменных эквивалентов). Соотношение их не всегда одинаково: оно зависит и от характера газетного материала, и от умения автора пользоваться всем богатством средств экспрессивного синтаксиса.

Можно говорить и о том, что далеко не все газеты оказываются в одинаковой мере «восприимчивыми» к разговорным (по происхождению) средствам экспрессии. В частности, в районных газетах (к анализу привлекались районные газеты Воронежской области) эти средства используются гораздо реже, чем в газетах центральных. Обращает на себя внимание отсутствие здесь комплексного использования экспрессивных синтаксических структур, восходящих к разговорным. Так, сегментированные конструкции принимаются если не всеми, то большинством газет в более или менее одинаковой степени:

Проводы в армию. В наши дни они выливаются в радостный праздник (верхнехавская районная газета «Заря коммунизма», 1968, 9 мая); Профессия. Сколько их на земле! (терновская районная газета «Красное знамя», 1968, 25 июня); Призвание... Я и сейчас к этому слову отношусь с уважением (павловская районная газета «Маяк Придонья», 1968, 1 мая); Острогожск. В нем я живу одиннадцать лет (острогожская районная газета «Новая жизнь», 1967, 21 апреля); Проводы зимы. В нынешнем году в рабочем поселке они совпали со знаменательным и важным событием (ольховатская районная газета «Дело Октября», 1967, 15 марта).

Другие же структуры, восходящие к разговорным, используются неравномерно. Например, острогожская районная газета «Новая жизнь» охотнее всего прибегает к такому средству «оживления» газетного языка, как инверсирование порядка слов, с целью придания ему особой «сказовой» манеры:

На косовице нормы перевыполняет ежедневно («Новая жизнь», 1968, 29 августа); Потом Саня меня в Болдыревку переманил (там же); Как в Острогожск попал? Да очень просто («Новая жизнь», 1968, 24 августа).

Парцеллированные же конструкции здесь встречаются гораздо реже:

Люблю и городок. За скромную его красоту и большие дела («Новая жизнь», 1967, 21 августа).

Для павловской районной газеты «Маяк Придонья», наоборот, характерна сравнительно высокая частота употребления именно парцеллированных структур:

Но то были слезы радости и благодарности. Радости от предстоящей встречи с сестрой и большой сердечной благодарности душевному человеку («Маяк Придонья», 1968, 24 августа); Но механизаторы не проходят мимо стенновки. Останавливаются, ищут свои фамилии. И находят («Маяк Придонья», 1968, 29 августа); Все дни юбилейного года были напряженными. Потому что каждый водитель из всех сил старался выполнить взятое обязательство («Маяк Придонья», 1968, 1 января).

Эти и другие факты говорят о том, что почти каждая газета располагает более или менее определенным (часто довольно узким)

набором разговорных форм экспрессивного синтаксиса. Выбор той или другой формы, вероятно, связан со степенью мастерства пишущего и со стилистическими склонностями секретаря редакции, влияние которого на формирование языковых навыков сотрудников в районной газете неизменно выше, чем в центральных газетах. Что же касается сравнительно невысокой частоты употребления этих средств вообще, то это, очевидно, объясняется и другими причинами – прежде всего спецификой самой районной газеты, выходящей в условиях большого нелитературного языкового окружения. Ее читателями очень часто являются люди, не владеющие в достаточной степени литературным языком. Здесь, видимо, и следует искать истоки сдержанного отношения районных журналистов к разговорным по своему происхождению структурам или даже полного отказа от некоторых из этих структур. Например, в районных газетах совершенно отсутствуют конструкции с нарушенными связями частей, выступающие как важное средство стилизации неподготовленной «говоримой» речи. Причина этого очевидна: нелитературным языковым окружением конструкции такого рода воспринимались бы как обычная ошибка газетчиков, как незнание норм литературного языка.

Список литературы¹

- Адмони В.Г. Основы теории грамматики. М., 1965. – С.28.
Балли Ш. Общая стилистика и вопросы французского языка. М., 1955. – С. 84.
Будагов Р.А. О типологии речи. «Русская речь», 1967. – № 6. – С.46.
Винокур Г.О. Культура языка. М, 1925. – С. 105.
Винокур Т.Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи. В сб. «Развитие функциональных стилей современного русского языка». М., 1968. – С. 14.
Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Изд.-е 3. М., 1968. – С.117.
Костомаров В.Г. О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный» в сб. «Проблемы современной филологии». М., 1965. – С. 173 и сл.

¹ Здесь и далее сохраняется оформление списка литературы, представленное в статьях при их первичной публикации.

Костомаров В.Г. Стилистические смещения в языке газеты. «Вопросы культуры речи». М., 1967. – С.18.

Лаптева О.А. Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций в разговорной речи. В сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка». М., 1966. – С. 54.

Сиротинина О.Б. Разговорная речь. Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1966. – С.13.

Скребнев Ю.М. К проблеме изучения современных тенденций синтаксиса английской разговорной речи. Вопросы общего и германского языкознания. Уфа, 1964. – С. 64.

Смирницкий А.И., Ахманова О.С. О лингвистических основах преподавания иностранных языков. Иностранные языки в школе. М., 1954. – № 3. – С. 50

Холодович А.А. О типологии речи. Историко-филологические исследования. М., 1967.

Чижик-Полейко А.И. Стилистика русского языка. Ч.1. Воронеж, 1961. – С. 86.

Чижик-Полейко А.И. Стилистика русского языка. Ч.3. Воронеж, 1966. – С.120.

Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. Москва, 1966. – С. 15, 40.

ДИАЛОГ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ИНОСТРАНЦАМ¹

(Впервые опубликовано: «Организация самостоятельной работы студентов: тез. докл. пятой науч.-метод. конф.» – Воронеж, 1969. – С. 109–112)

В системе преподавания русского языка как иностранного важное место принадлежит изучению разговорной речи. Под разговорной речью понимается устная форма речевого контактирования, обслуживающая по преимуществу бытовую сферу. Рассматриваемая в этом плане разговорная речь характеризуется фонетическими и интонационными особенностями, довольно отчетливо

¹ Статья написана совместно с В. И. Дьяковой.

очерченным кругом лексических единиц и, прежде всего, синтаксическим своеобразием. Для разговорного синтаксиса характерны специфические «разговорные» конструкции, выступающие в качестве экспрессивных эквивалентов нейтральных письменных структур. Имеют место и разного рода конструкции-штампы, не имеющие прямых соответствий в письменной речи. Очень часто здесь встречаются разговорные частицы двух типов: 1) частицы, с помощью которых образуются особые синтаксические построения; 2) частицы, изъятие которых не меняет общего грамматического типа конструкций.

Необходимость изучения этих стилистических средств русского языка очевидна: отказ от него привел бы к тому, что иностранец, попав в сферу бытового общения (магазин, автобус, больница, почта), оказался бы беспомощным и не понимал окружающих. В свою очередь его собственная речь в этих условиях являлась бы предельно книжной. В связи с этим отечественными и зарубежными методистами в последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости изучения наряду с книжной письменной и устной речью собственно разговорной речи.

Для знакомства иностранных учащихся с особенностями разговорной речи и автоматизации разговорных навыков применимы в принципе различные приемы и методы. Но, пожалуй, самым эффективным средством является использование системы бытовых диалогов.

В. М. Никитин специально подчеркивает: «Диалог представляет собой самую распространенную форму разговорной речи. Из печатного (письменно зафиксированного) слова диалог в наибольшей полноте и точности отражает особенности устной речи. По своим качествам отпечатанный диалог представляет собой наиболее надежное средство для овладения особенностями устной речи при изучении иностранных языков»¹.

¹ В. М. Никитин. Некоторые особенности диалога и структурное взаимодействие и взаимовлияние реплик вопросно-ответного диалога. В сб.: «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи». Тезисы докладов к межвузовской научной конференции (декабрь, 1966 г.). Горький, 1966.

При изучении диалогов как средства усвоения разговорной речи главное внимание уделяется не только и не столько овладению лексикой (хотя это и важно), но в первую очередь синтаксической стороне разговорной речи. Одновременно с этим отрабатываются некоторые типы и виды интонации, имеющие ярко выраженную «разговорную» окраску и прикрепленные к тем или другим разговорным структурам.

Работа над диалогами может вестись двумя различными способами. Допустимо предварительное знакомство студентов с текстом диалога, в котором содержатся подлежащие усвоению на данном занятии три-четыре разговорные структуры. Преподаватель объясняет студентам значение этих структур на основе сравнения их с нейтральными книжно-письменными эквивалентами, уже известными студентам (где это возможно). Затем предлагается студентам найти соответствия в родном языке. После этого преподаватель раскрывает рамки употребления этих конструкций, т. е. говорит об их допустимом лексическом наполнении. Одновременно с этим оговаривается возможность того или иного (необходимого или факультативного) интонирования данного построения. И уже затем студентам предлагается подготовить этот диалог дома.

Как показал опыт работы в немецких группах, более эффективным является другой путь. Преподаватель предлагает студентам несколько микродиалогов, содержащих подлежащие вводу структуры. На основе этих микродиалогов объясняется их значение и употребление. Далее студентам могут быть предложены неполные, «односторонние» диалоги, т. е. такие диалоги, в которых студент должен дать ответ на вопрос или обращенное к нему предложение (просьбу, приглашение) с обязательным использованием введенных структур. После этого студенты сами составляют такого рода микродиалоги, тренируясь в правильном употреблении изучаемых конструкций. И лишь затем называется тема полного диалога, задается список лексика, вводятся структуры, подлежащие повторению. Этот диалог студенты готовят дома, в процессе самостоятельной работы. Проверка его проводится на следующем занятии. Контроль за правильным употреблением тех или иных

форм в первую очередь осуществляют сами студенты. Кроме того, студенты готовят диалог предварительно в письменном виде, и, таким образом, преподаватель может еще раз проконтролировать самостоятельную работу студентов.

В итоге происходит тесное сочетание аудиторных и домашних занятий.

Непосредственное участие в диалоге и необходимость осуществления контроля за товарищами по группе способствуют прочному усвоению вводимых конструкций и активному их употреблению в подходящих ситуациях.

О ХАРАКТЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗГОВОРНЫХ СРЕДСТВ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТЫ

(Впервые опубликовано: «Вопросы истории, теории и практики местной печати: тез. докл. науч.-практ. конф.». – Воронеж, 1969. – С. 65–67.)

1. Среди разного рода стилистических средств, реализуемых в языке газеты, важное место принадлежит средствам разговорного стиля. Использование последних в газетном языке отличается некоторым своеобразием.

2. В сравнительно немногих случаях наблюдается прямой, непосредственный перенос разговорных средств в сферу письменного (в данном случае – газетного) языка с целью сближения его с речью массового читателя. Такому переносу легче всего поддаются лексика, отдельные устойчивые выражения, целый ряд бессоюзных конструкций, некоторые типы «сокращенных» словосочетаний, образованных в разговорном стиле на базе полных словосочетаний («комиссия по качеству» – «комиссия по проверке качества») и т. д. Здесь мы, по-видимому, имеем дело с непосредственным вхождением разговорных средств в газетный язык (Н.Ю. Шведова).

3. Так как отличительной особенностью газеты является ее стремление к действенности, для газетного языка характерно использование различных способов и средств создания повышенной экспрессии. Один из таких способов – так называемое стилевое «смещение» (В. Г. Костомаров). Сущность его заключается в совмещении разностильных средств – порой совершенно противоположных по своему характеру в рамках одного контекста. Среди различных типов сочетаний стилистически разнородных элементов главное место занимают сочетания, одним из обязательных компонентов которых являются разговорные слова. (В качестве второго компонента могут выступать средства научной терминологии, слова, принадлежащие деловому стилю, архаическая лексика и т.д.)

4. Иногда допускается непосредственный перенос разговорных конструкций в язык газеты с одновременным их переосмыслением. Известно, что в сочетаниях «определение-прилагательное + определяемое существительное» в силу частой их повторяемости второй компонент может стать избыточным и при этом, как правило, опускается (Ср.: «Я по больничному», «У меня проездной»). Такого рода сокращенные модели, широко бытующие в разговорной речи, в последнее время часто употребляются в качестве газетных заголовков («Второй московский...», «Третья университетская...» и т. д.). Однако здесь определяемое существительное опускается вовсе не потому, что смысл его однозначно подсказывается определением-прилагательным. Даже наоборот – в данном случае определение-прилагательное допускает подстановку целого ряда «подходящих» существительных («Второй московский...» – фестиваль, конгресс, турнир; «Третья университетская...» – спартакиада, конференция). Уточнение и однозначное определение опущенного существительного возможно лишь из контекста, значит, субстантивация прилагательного здесь фактически не происходит. Поэтому модель «сокращенного» сочетания выступает как особого рода средство создания интригующего заголовка, заголовка-загадки (А. А. Брагина).

5. Разговорный стиль характеризуется специфическим набором лишь ему принадлежащих средств выражения, которые исторически сформировались в рамках устной формы речи, во многом отличающейся от письменной. Поэтому, когда возникает необходимость «перевода» разговорного стиля из сферы устного бытования в несвойственную ему сферу письменной речи, разумеется, далеко не во всех случаях можно говорить о прямом, непосредственном переносе всех особенностей этого стиля. Как правило, мы имеем дело со своеобразным процессом препарирования разговорных структур и приспособлением их к нуждам письменной речи. Иными словами, можно говорить о выработке письменных (в данном случае – газетных) эквивалентов разговорных конструкций (О. Лаптева).

Известно, что в разговорном стиле, выступающем в своей первичной – устной – форме речи функционируют всевозможные присоединительные структуры, как бы добавляющие что-то к уже сказанному. Эта особенность разговорного стиля в газетном языке воспроизводится посредством употребления парцеллированных конструкций, образованных на основе расчленения целостной модели предложения на несколько частей, каждая из которых логически выделена (Он вошел в комнату. Молча. Ни на кого не глядя). Однако благодаря приему парцелляции не только достигается дополнительная актуализация каких-либо членов предложения, но и осуществляется сближение письменных конструкций с разговорными по глубине (для разговорного стиля характерна средняя глубина предложения в 5 +/- 2 слова).

Уменьшение глубины довольно громоздких письменных конструкций может производиться и другим путем употребления особого рода структур, имитирующих диалогический характер устной речи. Использование этого приема позволяет расчленить исходное предложение (чаще всего сложноподчиненное) на три более коротких предложения: сообщение, реплику-переспрос, ответ на реплику (Они не хотят этого. Почему? Потому что это не соответствует их интересам).

ПИСЬМЕННЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ РАЗГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ

(Впервые опубликовано: «Известия Воронежского государственного педагогического института». – Воронеж, 1969. – Т. 68: Развитие русского языка в советскую эпоху. – С. 45–47.)

Язык прессы сейчас особенно заметно проявляет тенденцию к сближению с разговорной речью. Этот процесс является, очевидно, двусторонним: газета в какой-то мере влияет на разговорную речь и в то же время, будучи рассчитанной на массового читателя, сама испытывает большое влияние разговорной стихии. В последнее время появился ряд работ, в которых подвергается конкретному анализу этот интересный процесс. Автор одной из таких работ Н. Ю. Шведова¹, анализируя газетный материал последних лет, описывает целый ряд новых, ранее не характерных для языка прессы структур. При этом она проводит мысль о непосредственном вхождении разговорных конструкций в язык газеты. Если принять ее концепцию о двух ступенях вхождения разговорных форм в письменную речь, то, очевидно, следует сделать вывод, что в газетном языке мы имеем дело с последней ступенью «свободного отражения разговорной стихии»², когда некоторые разговорные структуры перестают быть только разговорными в собственном смысле этого слова.

Как нам кажется, эта концепция не может быть принята безоговорочно в силу некоторых специфических различий разговорной и письменной речи. Устная разговорная речь, как известно, в противоположность речи письменной, характеризуется большей эмоциональной окрашенностью, по преимуществу диалогичностью, наличием всевозможных неязыковых моментов (жесты, мимика) и элементов интонационного плана (пауза, мелодия, темп, тембр). Кроме того, ее отличают сравнительно небольшая глубина предложений (5 ± 2 слова) и в некоторой степени грамматическая

¹ Шведова Н. Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., «Наука», 1966.

² Там же, стр. 28.

«неорганизованность», обусловленная невозможностью предварительного обдумывания.

Само собой разумеется, что в силу специфичности обоих видов речи нельзя говорить о прямом перенесении в письменную речь разговорных конструкций. Вероятнее всего, мы имеем здесь дело со своеобразной имитацией разговорных структур в письменном языке, или, иными словами, с письменными (в данном случае – газетными) эквивалентами разговорных конструкций¹.

Если еще раз обратиться к характеристике письменной и устной речи, к моментам, различающим их, то окажется, что такая имитация прежде всего может осуществляться двумя основными путями: во-первых, уменьшением глубины предложений письменной речи и, во-вторых, нарочитым, намеренным привнесением некоторой грамматической «неорганизованности» в структуру отдельных конструкций письменной речи, что создает видимость высказывания, осуществленного без предварительного обдумывания.

Именно стремление к имитации малой глубины предложений разговорной речи явилось, на наш взгляд, причиной появления в языке газеты целого ряда структур, образованных путем расчленения довольно громоздких письменных построений на короткие самостоятельные синтагмы, максимально приближенные по размеру к предложениям разговорной речи. К числу таких структур, посредством которых создается так называемый рубленный синтаксис, относятся парцеллированные конструкции (Они все больше разговоривают. О прошлом. И о будущем. «Известия», 31 декабря 1966 г.), сегментированные (Человек будущего. Каков он? «Правда», 30 декабря 1966 г.) и некоторые другие.

Попытка создать видимость отсутствия возможности для предварительного обдумывания ведет к употреблению в газетном языке структур с «нарушенными» грамматическими связями частей. Это в первую очередь – сложноподчиненные двучленные предложения, «не относящиеся к какой-либо отстоявшейся в литературном языке разновидности подчинительных конструкций в чистом

¹ Лаптева О. А. Изучение русской разговорной речи в отечественном языкознании последних лет. «Вопросы языкознания», 1967, № 1, стр. 131.

виде»¹. (А чтобы дело делать – об этом и не подумали. «Комсомольская правда», 4 января 1967 г.), бессоюзные предложения с включенными синтаксически независимыми синтагмами (Конго: заботы и проблемы. «Комсомольская правда», 6 января 1967 г.) и т.д.

Появляясь на страницах газет, эти структуры становятся своеобразными стилистическими средствами, которые помогают пишущему максимально приблизить свою речь к разговорной, оживить ее. При этом каждая конструкция получает более или менее очерченную сферу употребления. Так, парцеллированные конструкции в газетном языке встречаются преимущественно в речи автора (тогда как в художественном тексте они употребляются как средство речевой характеристики персонажей²). Сегментированные конструкции чаще всего возможны в заголовках статей³. Гораздо реже они употребляются непосредственно в тексте. Сложноподчиненные двучленные предложения типа «А что он опоздал – так этого никто не заметил» обычно встречаются в речи персонажей. Структуры же последнего вида (Конго: заботы и проблемы) употребляются только в заголовках.

Все эти конструкции, которые можно назвать общим термином – расчлененные, явление в общем-то не новое. В 20-е годы XX столетия расчленение (точнее – принцип расчленения) было характерно для языка художественной литературы, что иногда объяснялось влиянием языка польских переводов. Этот стиль с неумеренным и зачастую неоправданным расчленением частей вызвал в свое время поток эпиграмм и постепенно начал угасать. Сейчас наблюдается заметное расширение употребления расчлененных структур. Сами по себе они, как уже говорилось, оживляют газетную речь,

¹ Иванчикова Е. А. О развитии синтаксиса русского языка. В сб.: «Развитие синтаксиса современного русского языка». М., изд-во «Наука», 1966, стр. 15.

² См. об этом нашу статью: Ломов А. М. Парцеллированные конструкции в языке газет. Сборник материалов 2-й научной сессии вузов Центрально-Черноземной зоны. Воронеж, изд-во ВГУ, 1967.

³ Попов А. С. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие. В сб.: «Развитие синтаксиса...». М., изд-во «Наука», 1966, стр. 123.

но, становясь «модными», получают тенденцию к превращению в штампы. Об этом свидетельствует их неумеренное, а подчас и совершенно неправильное употребление в газетном языке (Улыбка радости. Изумления и тихого удовольствия пробежала по его лицу. «Неделя», 22-29 декабря 1966 г.).

ЧАСТИ РЕЧИ В ИХ ОТНОШЕНИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ

(Впервые опубликовано: «Русское предложение:
исследование и преподавание в школе и вузе:
межвуз. сб. науч. тр.». – Воронеж, 1986. – С. 74–86.)

Всякий раз, когда оценивают логическую и реальную аргументированность современного учения о частях речи, обычно с неудовлетворением констатируют, что оно является отнюдь не безупречным, поскольку соответствующие классы слов выделяются в его рамках на разных основаниях. Естественно, что эта неудовлетворенность существующим положением дел в фундаментальной по своему характеру области языковой теории порождает вполне понятные устремления к пересмотру принятой в том или ином языке номенклатуры частей речи, причем исходным пунктом этих устремлений становятся поиски того угла зрения, который сделал бы классификационный принцип частей речи, заложенный в самом языке (а не навязанный ему исследователем!), «более прозрачным»¹.

Ряд попыток вскрыть внутреннюю логику частеречной систематизации лексики был предпринят (преимущественно на материале русского языка) в последние 60 лет, начиная с известной статьи Л. В. Щербы, в которой ставилось целью по возможности упорядочить принятую в начале XX в. классификацию частей речи².

Результаты этих попыток оказались поучительными. С одной стороны, несмотря на разнообразие предлагавшихся подходов, номенклатура частей речи не претерпела заметных изменений, если

не считать выделения некоторых дополнительных разрядов слов (правомерность чего в дальнейшем оказалась довольно проблематичной). Данное обстоятельство есть все основания расценивать не как свидетельство бессилия лингвистической мысли, не способной на настоящем этапе найти ключ к решению проблемы, а как доказательство того, что учение о частях речи, сложившееся в настоящем его виде в результате более чем двадцативековых усилий лингвистов разных стран, в общем и целом не нуждается в кардинальной перестройке и требует лишь внесения определенных коррективов, которые должны явиться естественным следствием экспликации тех оснований, на которых покоится распределение лексического материала по частям речи.

С другой стороны, было бы неверно полагать, будто неоднократно предпринимавшиеся попытки критического осмысления частеречной проблематики вообще не привели хоть к сколько-нибудь заметному прогрессу в рассматриваемой области научного знания. Такой прогресс, несомненно, есть. К настоящему времени стала более очевидной специфика формального механизма частей речи. Она проявляется, как отмечал ещё В. Гумбольдт, в том, что внутренний строй частей речи «заявляет о себе, не прибегая непосредственно к языковому знаку»³. Это означает, что расчлененность лексического состава того или иного языка на определенные разряды (классы) обнаруживается не прямо (как у большинства языковых категорий), а косвенно – через всякого рода акцидентные (сопутствующие и потому в известном смысле случайные) языковые феномены – морфологические, синтаксические, словообразовательные, набор и соотношение которых меняются не только от языка к языку, но даже от одной части речи к другой в рамках одного языка⁴.

Необычность такого рода манифестации частей речи (наблюдаемой в других случаях в общем-то довольно редко*) в значительной степени затемняет их онтологическую сущность. Она, в част-

* Ср., например, изъявительное наклонение в русском языке, которое в отличие от сослагательного и повелительного наклонений, обладающих собственными формальными приметами, обнаруживает себя через «васальные» категории времени и лица.

ности, является источником широко распространенного мнения, будто части речи как таковые классифицируются по комплексу различных признаков. В действительности же по комплексу признаков (в их полном или частичном наборе) может опознаваться лишь принадлежность конкретного слова к той или иной части речи, а сами части речи противопоставляются друг другу (и, стало быть, систематизируются исследователем) как члены особой – классификационной по своей сути – грамматической категории исключительно на основе свойственных им категориальных значений, связанных «с некоторыми общими (хотя и по-разному проявляющимися) закономерностями человеческого языка и самого человеческого мышления»⁵.

Изложенное понимание категории частей речи (в последние годы находящее активную поддержку исследователей сибирских языков и языков Юго-Восточной Азии) снимает значительную часть упреков традиционной классификации в непоследовательности (это все-таки классификация, построенная на едином – семантическом принципе). Но оно, понятно, не может отвести их целиком и полностью, поскольку не исключена возможность субъективного, т. е. допущенного исследователями, смешения в ее рамках семантических признаков разного ранга, в том числе и таких, которые категориальных частеречных значений не передают.

На первый взгляд, установить, существует или нет это смешение, достаточно просто: для этого необходимо проанализировать содержательную сторону каждой отдельно взятой части речи с точки зрения их логической рядоположности. Но дело как раз в том и состоит, что у исследователя нет ориентира, с оглядкой на который он мог бы квалифицировать соответствующие факты либо как рядоположные, либо, напротив, как нерядоположные. Это обстоятельство требует, чтобы непосредственный анализ частеречных значений был предварен функциональным рассмотрением категории частей речи в целом, которое, по логике вещей, призвано выяснить ее общее положение и функцию (назначение) в языковой системе и в конечном счете создать необходимые предпосылки для логической оценки существующей номенклатуры частей речи.

Одним из первых, кто предпринял в отечественной лингвистике попытку решения этого вопроса, был А.А. Потебня, который ставил категорию частей речи в прямую связь с предложением, подчеркивая, что без частей речи нет и предложения⁶. Однако в последующем реализация этой интересной и плодотворной идеи А.А. Потебни свелась практически к установлению соответствий частеречных характеристик слов и функций этих слов в предложении. И поскольку строгих соответствий в этом плане не было обнаружено, идея как неоправдавшая себя практически была снята с повестки дня. При этом был упущен из виду один существенно важный момент: доказательство того, что данный конкретный способ реализации какой-либо гипотезы не ведет к желаемому результату, вовсе не означает, что тем самым автоматически исключается реализация той же гипотезы другими способами, в том числе и путем нахождения всякого рода посредствующих звеньев.

Такого рода посредствующее звено в общей цепи связей, существующих между частями речи и предложением, можно обнаружить, если учесть, что последнее, по современным научным представлениям, имеет две стороны (аспекта) – номинативную и прагматическую, из которых первая отражает способность предложения называть (именовать) определенную ситуацию, мысленно вычленяемую из объективной действительности, а вторая – нести дополнительную информацию (в интересах слушающего) об этой ситуации (фиксировать цель сообщения, порядок его развертывания, отношение к нему говорящего и т. д.). Поскольку же словесный материал прямо ориентирован на номинативный аспект предложения (именование ситуации и отдельных ее компонентов без лексики совершенно немислимо, тогда как в организации прагматики она, может быть за вычетом частиц, практически участия не принимает), можно полагать, что части речи, рассматриваемые с точки зрения их категориальных значений, представляют элементарные «составляющие» ситуации, называемые предложением. Иными словами, назначение (функция) частеречной категоризации состоит в том, чтобы систематизировать лексические единицы и, так сказать, подготовить их к употреблению в качестве номинаторов типовых субстанциональных компонентов предложения

(«предмета», «стабильного признака», «количества» и т. д.), которые затем уже интерпретируются в предложении с точки зрения их ролевого использования в качестве «субъекта», «предиката», «атрибута» и т. д.

Строго говоря, такое представление о функции частей речи нельзя назвать чем-то абсолютно новым. Оно фактически заложено в традиционном подразделении частей речи на знаменательные и служебные, из которых первые представляют собой нечто вроде стандартных строительных блоков, из которых может быть «смонтирована» (по крайней мере, вчерне) любая ситуация, называемая предложением, а вторые (если продолжить аналогию) – своего рода вспомогательный строительный материал, назначение которого состоит в том, чтобы именовать те отношения, которые устанавливаются между фрагментами ситуации, ситуациями в целом, говорящим и ситуацией. Свой глубокий смысл в этой связи обретает и такое же традиционное вынесение за рамки указанного подразделения междометий и звукоподражательных слов (вполне правомерно выделяемых в последние годы в особую часть речи). Это, безусловно, периферийные явления, контрастирующие с общей массой частей речи. Междометия называют некоторые ситуации в целом – без их предварительного расчленения на элементы (ср.: Ой! – Мне больно; Ого! – Я удивлен и т. д.), звукоподражательные слова имитируют (конечно, с известной долей условности) звуки живой и неживой природы.

Если же теперь, имея в виду (в качестве искомого ориентира!) функциональную специфику частей речи, произвести содержательный анализ последних, то окажется, что существующая номенклатура частеречных классов действительно является не вполне последовательной. Нарушение тождества классификационных оснований имеет место в трех основных случаях:

а) когда в ряд частеречных признаков попадают признаки абсолютно иного плана;

б) когда в рамках одной части речи объединяются слова с разными частеречными признаками;

в) когда варианты одного и того же частеречного признака рассматриваются как разные частеречные признаки.

Нарушения первого типа особенно ярко обнаруживаются в сфере местоимений, в трактовке которых с давних пор противостоят две традиции – античная и романтическая. Согласно античной традиции, местоимения интерпретируются как специфический класс слов с обобщенно-указательной семантикой, рядоположный с другими классами (частями речи). Напротив, романтическая традиция склонна видеть в местоимениях определенные группы слов, выделяемые в рамках нескольких частей речи. К настоящему времени вузовская и школьная грамматика следует античной традиции, а научная – романтической, сделав уступку (вслед за И.Ф. Калайдовичем и В.В. Виноградовым) античной традиции в виде допущения, что в русском языке на правах особой части речи существует лишь очень небольшой класс местоимений-существительных.

При оценке указанных (практически взаимоисключающих) точек зрения следует принять во внимание то обстоятельство, что слова различаются не только по характеру частеречных значений, но и по способу номинации денотата. Эти способы, по всей вероятности, многообразны, однако наиболее значимы из них четыре: характеризующий (описательный, конвенционально-индивидуализирующий, выделительный и дейктический).

Характеризующий способ номинации предполагает обобщение тех или иных свойств, признаков, отношений, которые выделяются коллективной практикой у однородных реалий и которые, будучи закреплены за определенным звукорядом, служат средством опознания конкретных составляющих этого класса (*конь, стол, читать, высокий*). На основе конвенционально-индивидуализирующего способа номинации образуются собственные имена, сигнификат которых создается конвенциональным путем – путем отнесения соответствующих наименований к отдельно взятым лицам, животным, географическим пунктам и т. д. – и которые в соответствии со степенью «авторитетности» именуемого становятся известными либо всему языковому коллективу, либо его части (*Байкал, Петр, Полкан, Барбос, Набережные Челны*). Выделительный способ номинации используется в тех случаях, когда содержание соответствующих реалий определяется не исчислением сущност-

ных признаков, а выделением из ряда подобных (*восемь, пять, первый, тысяча*). Посредством дейктического способа номинации за звукорядом закрепляются те обобщенные признаки и свойства реалий, которые носят не абсолютный, а относительный характер, поскольку они выявляются у соответствующих реалий не прямо, а через их отношение к говорящему лицу, к данной обстановке речи⁷. Но и говорящее лицо, и обстановка речи, как известно, величины переменные, в связи с чем конкретное содержание местоимений всякий раз оказывается различным, т. е. более широким, чем у замещаемых ими существительных, прилагательных, числительных и наречий. Однако это обстоятельство, как пронизательно заметил А.М. Пешковский, не мешает местоимениям обозначать одно и то же и притом нечто такое, что никакими другими словами не выражается⁸.

Части речи и способы номинации явно несоотносительны и определенным образом перекрещиваются друг с другом. Например, в рамках имени существительного используются буквально все способы номинации (ср.: *дом, Ирина, восьмерка, он*). Сигнификат имен числительных задается исключительно выделительным способом (*два, десять, шестеро*), но на основе того же способа образуются и другие части речи (существительные: *тройка, пятерка*; наречия: *вдвоем, трое*).

Достаточно очевидно, что в тех случаях, когда исследователь выделяет местоимения в особый класс, он игнорирует их категориальные значения (тождественные значениям существительных, прилагательных, числительных и наречий), опираясь на классификационный признак совершенно иного порядка – специфический способ номинации. Конечно, в особых, например, методических, целях такое объединение допустимо, подобно тому как допустимо выделение из общей массы производных слов, относящихся к разным частям речи, лексических единиц, образованных префиксальным путем. Но рассматривать местоимение как особую часть речи и ставить его в один классификационный ряд с существительным, прилагательным, глаголом и т.д. так же неправомерно, как неправомерно при исчислении производных существительных, прилагательных и глаголов вести речь о префиксальных производных

единицах вообще, забывая о том, что среди них есть и существительные, и прилагательные, и глаголы.

Аналогичное же смешение классификационных оснований наблюдается при выделении так называемых модальных слов. Их отличительный признак – автономность в предложении, обусловленная необходимостью выражения разного рода отношений говорящего к содержанию и форме высказываемого сообщения, – носит явно синтаксический характер и к тому же является общим не только для слов, но и для словесных комбинаций, составные элементы которых обнаруживают прямую связь с существительными, глаголами, предлогами и т. д. (ср.: *должно быть, видишь ли, к удивлению, одним словом* и т. д.). Примечательно, что даже В.В. Виноградов, одним из первых отметивший специфику модальных слов, не рискнул квалифицировать их как особую часть речи, предположив, что они представляют собой промежуточную ступень на пути преобразования знаменательных частей речи в служебные⁹.

Если далее обратиться к анализу числительных, легко заметить, что они наглядно демонстрируют второй тип нарушений тождества классификационных оснований, связанный с объединением в рамках одной части речи слов, явно нетождественных по своим категориальным значениям. В самом деле, к числительным традиционно относят подавляющее большинство слов с количественной семантикой, различая среди них количественные, порядковые, собирательные и составные числительные. Но правомерность такого шага давно уже вызывает справедливые возражения.

В первую очередь эти возражения касаются так называемых порядковых числительных. В их содержательной структуре, конечно же, отражено значение количества (как и у количественных числительных), но оно явно не носит категориального характера, будучи и полностью подчинено значению стабильного признака, лежащего в основе класса прилагательных (подобно тому как это значение у существительных типа *белизна, чернота*, и процессуального признака у существительных типа *бег, чтение* подчинены категориальному значению предмета). Имея в виду это обстоятельство, В.В. Виноградов с полным основанием писал: «...считать третий,

четвертый, пятый, шестой и другие порядковые определения числительными – то же самое, что находить в относительных прилагательных вчерашний, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний и т. п. наречия времени или отглагольные прилагательные на -лый (типа полинялый) называть глаголами прошедшего времени»¹⁰. И действительно, по своему категориальному значению (значению стабильного признака), по формальным свойствам слова, определяющие положение предмета в порядке счета, входят в разряд относительных прилагательных*.

С учетом того, что из имени числительного должны быть выведены также дробные и составные числительные (представляющие собой не слова как таковые, а сочетания слов, используемые в качестве условных форм арифметического выражения), оказывается, что числительные как часть речи конституируют лишь два ряда лексических единиц – количественные и собирательные именования. У первых (*два, пять, восемь, одиннадцать*) категориально-числовое значение реализуется, так сказать, в чистом виде, у вторых (*трое, четверо*) оно осложняется признаком собирательной предметности, который носит лишь вторичный модифицирующий характер и «не переводит» данные числительные в разряд существительных.

В связи с тем, что различия между первичными (категориальными) и вторичными (модифицирующими) признаками просматриваются не всегда достаточно отчетливо, становится возможным третий тип нарушения тождества классификационных оснований, обусловленный тем, что вторичному признаку приписывается статус первичного категориального признака и обладающие им словесные единицы выводятся в особую часть речи. Именно так обстоит дело в сфере глагола. Как известно, его категориальная специфика состоит в обозначении развивающегося, процессуального признака, который в различных глагольных формах интерпретируется по-разному. У спрягаемых форм он предстает в своем эталон-

* В свою очередь, слова *тысяча, миллион, миллиард, триллион, биллион*, подобно словам *единица, тройка* и т.д., относятся к существительным, поскольку обладают свойственным последнему категориальным значением предметности.

ном виде – как действие, которое либо «производится» предметом (подлежащим) – *Ваня читает; Камень лежит*, либо приписывается предмету – *Дом строится*, либо, наконец, осуществляется «самопроизвольно» – *Смеркается, Дождит*. Инфинитив, напротив, отвлекает действие не только от носителя, но и от конкретных модально-временных условий реализации и благодаря этому как бы опредмечивает его. В причастных формах значительно ослабляется момент действительности общеглагольного признака и в то же время усиливается его атрибутивность, благодаря чему причастия сближаются с прилагательными. Что касается деепричастий, они, акцентируя вторичный характер обозначаемого ими признака, оказываются в известном смысле подобными наречиям.

Каждая из перечисленных форм не только своеобразно интерпретирует общеглагольный признак, но и обладает неодинаковым набором формальных свойств, что еще более усиливает различия между ними. Отсюда вполне понятно, почему в прошлом (а иногда и в настоящем) причастию, деепричастию и даже инфинитиву отказывали в праве называться глаголами, относя их к разряду гибридных, но все-таки самостоятельных частей речи (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, А.М. Пешковский).

Между тем еще в 50-е гг. нашего столетия А.И. Смирницким была высказана оставшаяся практически незамеченной точка зрения, согласно которой спрягаемые формы, инфинитив, причастие и деепричастие представляют собой члены особой грамматической категории, названной им (не вполне, впрочем, удачно) категорией репрезентации¹¹. В последние годы лингвистическая мысль вновь возвращается к этой гипотезе¹², и для этого есть весьма веские основания.

В самом деле, говоря, например, о том, что существительное называет предмет, мы тем самым фиксируем лишь то, какой компонент предложеческой ситуации он репрезентирует. Но предмет в составе этой ситуации по своей функциональной нагрузке отнюдь не стабилен. Он может быть субъектом, объектом, частью именного сказуемого и т. д. Конечно, точная квалификация ролевой сущности «предмета» осуществляется в составе предложения

за счет самых разнообразных языковых средств. Однако уже до предложения с помощью категории падежа как бы вчерне предопределяется функциональная специализация «предмета»: именительным падежом обозначается «предмет» в роли подлежащего или именной части сказуемого, винительным – «предмет», функционирующий как прямое дополнение или обстоятельство времени и т. д. Аналогичным образом функционально неоднозначен и обозначаемый глаголом «процессуальный признак». Его функциональная специализация как раз и осуществляется с помощью категории репрезентации: спрягаемые формы обеспечивают реализацию сказуемой, причастие – атрибутивной, деепричастие – обстоятельственной функций; инфинитив практически допускает любое функциональное использование, однако наиболее обычен он в роли второго компонента составного глагольного сказуемого. Но если рассматриваемые категории действительно схожи (при естественном расхождении в деталях), то выводить за рамки глагола как особые части речи причастие, деепричастие (или даже инфинитив) так же нецелесообразно, как нецелесообразно, скажем, приписывать статус особых частей речи падежным формам существительных. И в этом современная лингвистика отдает себе отчет, предпочитая говорить об инфинитиве, причастии и деепричастии как о членах единой глагольной парадигмы¹³.

Совершенно иначе обстоит дело с именами прилагательными. Известно, что прилагательные, обозначающие «стабильный (непроцессуальный) признак», реализуют его посредством двух форм – полной и краткой. Полная форма интерпретирует этот признак как ориентированный на «предмет» (зависимый и независимый: *высокому дому и высокий дом*), которому он приписывается, и в этом своем качестве может употребляться и в функции определения (*высокий дом*) и в функции именной части (*дом высокий*). Что же касается краткой формы, она реализуется в современном русском языке исключительно в предикативной функции (если, разумеется, не считать реликтовых образований типа *красна девица, на босу ногу* и т.д.) и соотносит обычно выражаемый «стабильный признак» с «предметом», выступающим в качестве подлежащего. Но подобно тому как спрягаемый глагол в определенных условиях

может утрачивать ориентацию на подлежащее, обозначая «процессуальный признак» безотносительно к его носителю, т.е. как развивающийся «самопроизвольно» (*Морозит. Дождит.*), точно так же краткие формы прилагательного способны представлять «стабильный признак» вне какой бы то ни было связи с «предметом» (*Там холодно. Здесь тихо.*) – как нечто такое, что существует независимо от предмета-подлежащего.

Конечно, аналогия безличных глаголов и независимых кратких прилагательных не может быть полной (это все-таки разные части речи!). Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что независимые прилагательные функционируют, как и безличные глаголы прошедшего времени (*светало, моросило*), в единственном числе среднего рода (*трудно, обидно*) и что в их сфере намечается противопоставление, аналогичное противопоставлению личных глаголов в безличном употреблении и собственно безличных глаголов: одни из них сохраняют соотносительность с обычными краткими прилагательными (ср.: *мне больно – это так больно*), другие утрачивают ее (*можно, нужно*).

Известная контрастность в употреблении обычных и независимых кратких прилагательных, собственно говоря, и явилась причиной того, что последние вместе с некоторыми существительными (*пора, грех, недосуг*) и наречиями (*наготове, настороже, замужем*) были выделены в 20-е гг. Л. В. Щербой в особую часть речи. Само ее название – «категория состояния» – отразило определенные сомнения автора концепции (не часть речи, а категория!), который со свойственной ему прямоотой писал: «...мне самому не кажется, чтобы это была яркая и убедительная категория в русском языке»¹⁴. В дальнейшем (после короткого периода безусловного принятия ее значительной частью лингвистов) эти сомнения еще более усилились, поскольку стало очевидным, что выделение категории состояния базируется на синтаксическом критерии, который не только не рядоположен критериям, лежащим в основе других частей речи, но и определенным образом пересекается с ними. Результатом этого явилось, с одной стороны, возвращение слов типа *пора, недосуг; должен, рад* соответственно в состав существительных и прилагательных, а в другой – включение неза-

висимых кратких прилагательных в состав наречий (в силу чего они стали называться предикативными наречиями)¹⁵. Первый шаг в этом перераспределении языкового материала по частям речи в принципе можно признать вполне корректным, второй, наоборот, свидетельствует о продолжающемся и еще не преодоленном смещении разных явлений – первичных (категориальных) признаков частей речи и их вторичных (модифицирующих) признаков.

Известно, что наречия «нормально» обозначают стабильный (непроцессуальный) признак второго (иногда третьего) ранга, поскольку они используются в предложении как средство характеристики глаголов (*ехать верхом*), прилагательных (*крайне неприятно*) и даже самих наречий (*очень быстро*). Их употребление в качестве признаков первого ранга (и в атрибутивной, и в предикативной функциях) представляет собой явление нечастное, носящее вторичный (производный) характер, так как оно является следствием всякого рода трансформаций синтаксических связей (ср.: *совсем маленький – совсем дитя, сварить кофе по-турецки – кофе по-турецки, он надел шапку набекрень – у него шапка набекрень, деньги пришли кстати – эти деньги кстати* и т.д.). Логично ожидать, что подобный же вторичный характер носят и так называемые предикативные наречия. Считая это как бы само собой разумеющимся, авторы Грамматики-80 специально оговаривают, что последние представляют собой группу слов, которая «пополняется за счет наречий, заключающих в себе качественные значения»¹⁶. Однако анализ окказиональных случаев функционирования предикативных наречий показывает, что они зачастую непосредственно соотносятся не с собственно наречиями (которых в языке просто нет!), а с прилагательными – полными и краткими. Ср.: на душе *снежно* и *холодно* (Герцен); К ночи в погоду становится *холодно* и *росисто* (Бунин); А под маской было *звездно* (Блок); Как страшно! Как *бездомно!* (Блок)^{1*} Этот факт – наглядное свидетельство того, что слова на -о в предикативной функции ближе не к наречиям, а к прилагательным, в составе которых они должны, как уже отмечалось в лингвистической литературе, рассматриваться в качестве особого подразделения¹⁷.

* Примеры заимствованы из Грамматики-80.

Такого же рода нарушения тождества классификационных оснований имеют место и в сфере служебных частей речи (ср. неоднократно отмечавшуюся исследователями нечеткость в разграничении союзов и частиц). Это ещё раз подтверждает высказанную ранее мысль, что существующая номенклатура частей речи нуждается в соответствующей корректировке.

¹ Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Проблема частей речи в современной лингвистике//Лингвотипологические исследования. М., 1975. Вып. 2. С. 7.

² См.: Щерба Л. В. О частях речи в русском языке//Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

³ Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 200.

⁴ См.: Суник О. П. Общая теория частей речи. М.; Л. 1966.

⁵ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1971. С. 202.

⁶ См.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М., 1958. С. 71.

⁷ См.: Виноградов В. В. Русский язык. М.; Л., 1947. С. 317.

⁸ См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956

⁹ См.: Виноградов В. В. Указ. соч. С. 725.

¹⁰ Там же. С. 233.

¹¹ См.: Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959. С. 245 и след.

¹² См.: Волоцкая З. М., Молошная Т. М., Николаева Т. М. Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., 1964. С. 118; Буланин Л. Л. Структура русского глагола как части речи и его грамматические категории//Спорные вопросы русского языкознания: Теория и практика. Л., 1983. С. 100 и след.

¹³ См., например: Русская грамматика. М., 1980. Т. 1.

¹⁴ Щерба Л. В. Указ соч. С. 90.

¹⁵ См.: Русская грамматика. Т. 1.

¹⁶ Там же. С. 705.

¹⁷ См.: Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945. С. 85; Мигирин В. Н. Категория состояния или бессубъектные прилагательные? //Исследования по русскому языку. М., 1970.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НАУКА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

(Впервые опубликовано: «Филологические записки». – Воронеж, 1995. – Вып. 4. – С. 125–135.)

Всякий раз, когда та или иная наука задумывается над собственными историческими судьбами (что обыкновенно случается на переломных этапах развития), она неизбежно сталкивается с вопросом, логически предваряющим такого рода размышления: в чём состоит сущность явления, именуемого научным прогрессом? Правда, долгое время этот вопрос ни у кого не вызывал особых беспокойств, поскольку ответ на него казался вполне очевидным. И специалисты, занятые конкретными проблемами, и науковеды свято веровали в линейный характер научного прогресса, полагая, что история любой науки представляет собой процесс постепенного накопления «вечных истин», обнаруживаемых в ходе расширения эмпирического базиса. Однако на рубеже 50–60-х годов нашего столетия ситуация коренным образом изменилась: возникли серьёзные и обоснованные сомнения в реалистичности кумулятивистского подхода к проблемам истории науки, слишком прямолинейно и односторонне отражавшего истинное положение дел и, по существу, никак не объяснявшего ту драматическую борьбу идей, которая непременно сопутствует научным поискам. Последовавшая затем ревизия старых воззрения имела своим результатом формирование новой концепции научного прогресса, основные положения которой нашли наиболее полное отражение в ставшей уже классической работе американского историка науки Т. Куна «Структура научных революций» (Кун 1977) .

Согласно этой концепции, движение научной мысли подчинено своеобразному двухтактному ритму. Это значит, что история каждой отдельно взятой науки есть цепь чередования двух взаимосвязанных и вместе с тем противоположных процессов: с одной стороны, процесса революционного становления научной парадигмы (в иной терминологии – дисциплинарной матрицы), задающей специфический способ видения наукой своего предмета, а с другой – процесса «нормального» научного развития, предполага-

ющего освоение данной парадигмы (вплоть до того момента, когда будут выявлены аномальные факты, адекватная интерпретация которых потребует очередного пересмотра научных представлений).

Смена парадигм (осуществляемая, несмотря на свой революционный характер, постепенно и отнюдь не исключая сосуществования в том или ином историческом пространстве старых и новых взглядов) приводит к тому, что исследователи рано или поздно оказываются вынуждены покинуть границы «светового круга», отбрасываемого предшествующими научными теориями, и вступить в «световой круг» становящейся парадигмы. При этом из прежнего знания, естественным образом, отвергаются гипотезы, обнаружившие свою неадекватность действительности (как это, например, было с геоцентрической концепцией Птолемея, с теорией теплорода и т.д.). Что же касается научных воззрений, подтверждённых опытом, они сохраняются в границах своей применимости и, в согласии с так называемым принципом соответствия, включаются в новые, более общие теории в качестве частных или предельных случаев (ср. законы классической механики Ньютона в их связи с теорией относительности Эйнштейна).

В настоящее время новое понимание сущности научного прогресса получило повсеместное и широкое признание. Более того, выяснилось, что принцип «двухтактности» свойственен не только науке как таковой, но и ряду других сфер человеческой деятельности. Вот два небезынертных в рассматриваемом отношении наблюдения. Ю.М. Лотман, размышляя о проблемах культуры, отмечает, что её развитие напоминает «своеобразные колебания маятника между состоянием взрыва и состоянием организации, реализующей себя в постепенных процессах» (Лотман 1992). И. Яковенко в своих поисках исторического смысла приходит к выводу, что история человеческого общества предполагает последовательную смену двух этапов – этапа стратегического выбора (когда принимается определённая модель развития данного общества) и этапа тактического выбора (когда принятая модель приспособляется к конкретным условиям и, следовательно, набирает силу историческая инерция) (Яковенко 1994). Терминология здесь, как видим, совершенно иная, но отсылает она если не к тем же самым, то к похожим закономерностям.

В этих условиях перед научным сообществом во весь рост встаёт задача перехода к последующему освоению уже найденной и обоснованной идеи: её требуется превратить в рабочий принцип, что, по логике вещей, позволит по-новому взглянуть на историю конкретных наук и (как следствие!), с одной стороны, уловить за внешним разнообразием направлений, течений и школ то общее, что делает развиваемые ими воззрения всего лишь нюансами какого-то единого взгляда на мир, а с другой – обнаружить принципиальные различия в подходах, нередко отождествляемых по случайным признакам. Именно эта задача и решается в предполагаемой читателю статье применительно к лингвистической науке, которая сейчас переживает период ломки привычных представлений.

Историко-научный анализ, вооружённый новым пониманием старой проблемы, легко обнаруживает, что за всё время существования лингвистика, несмотря на своё концептуальное многообразие, имела дело только с тремя парадигмами. Первая парадигма (условно её можно назвать элементарно-таксономической), возникшая вместе со становлением лингвистики как науки, принесла с собой представление об уровневой организации языковой структуры и видела свою задачу в вычленении и систематизации основных единиц фонетического, лексического, морфологического и синтаксического уровней. Её главным методом стал широко распространённый в ту пору в самых разных сферах научного знания метод сравнения, который долгое время носил, как свидетельствует опыт языковедов древней Индии, античных исследователей, авторов общих и национальных грамматик Средневековья и Возрождения, синхронный характер, т.е. обеспечивал описание языка, взятого в одной временной плоскости. Позднее, в первой четверти XIX века, когда умами европейцев уже овладела идея всеобщего развития, сравнение в лингвистике, как и в других науках (в биологии, в геологии и т. д.), было поставлено на историческую основу: элементы того или иного индоевропейского языка вычленялись и квалифицировались «с оглядкой» либо на соответствующие элементы родственных языков, либо на элементы того же самого языка, но более раннего периода развития (ср. хорошо известные работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А.Х. Востокова).

Состоявшаяся трансформация метода сравнения оказалась весьма результативной. Сторонники сравнительно-исторического изучения языка склонны были даже полагать, что именно компаративизм сделал лингвистику наукой; вспомним замечание Д.Н. Овсянико-Куликовского: «Наука о языке, лингвистика, есть одно из славных созданий истекающего XIX века» (Овсянико-Куликовский 1989). Конечно, всего лишь одна из гипербол, на которые был так щедр опьяненный успехами человеческого разума минувший век. Но отрицать тот факт, что с компаративизмом в языковедение пришла известная строгость научного анализа, которая и обеспечила реализацию главной установки элементарно-таксономической парадигмы – исчисление и первичную систематизацию основных уровней единиц языка, было бы по меньшей мере несправедливо.

Вместе с тем на рубеже двух последних столетий стало ясно, что триумф, сравнительно-исторического метода стоил языковедению весьма существенных жертв, для указания которых позднее был привлечен термин «атомизм», призванный подчеркнуть изоляционистский характер существовавшего тогда научного анализа, регистрировавшего и объяснявшего языковые элементы вне связи друг с другом. Осознание этого недостатка явилось симптомом и следствием начавшихся в науке того времени (прежде всего в социологии и психологии) мировоззренческих перестроек, которые имели целью установление представлений о системной организации всего сущего и которые в конечном счете обусловили переход лингвистики на позиции системно-структурной парадигмы.

Эта вторая по счету парадигма, которую справедливо связывают с именем швейцарца Ф. де Соссюра, основывалась на допущении, что элементы языка могут быть квалифицированы с достаточной полнотой и необходимой строгостью в том и только в том случае, если они будут рассматриваться как составные части более широкого универсума, представляющего собой некую систему и определяющего наиболее существенные (приобретенные в системе) свойства каждого отдельно взятого элемента. Этот взгляд на вещи означал перенос центра тяжести в лингвистическом исследовании на языковую имманентность, что потребовало жесткого отграничения языка от всякого рода смежных феноменов и после-

довательной реализации методической дифференциации таких явлений, как язык и речь, синхрония и диахрония, парадигматика и синтагматика. В рамках системно-структурной парадигмы оформилось несколько научных направлений – прежде всего пражский структурализм, глоссематика, дескриптивная лингвистика и генеративная лингвистика. Они различались не только конкретно исследовательскими целями, но и принятыми приемами описания языка. Последние, однако, имели то общее, что ориентировалось на характеристику взаимозависимостей языковых (иногда речевых) элементов либо в тексте, либо в языковом сознании (или даже в подсознании) говорящих индивидов.

В общем итоге приобретения системно-структурной парадигмы были весьма ощутимыми (ср. хотя бы разработку принципов фонологического описания звуковых систем). Однако с высоты нашего позднего знания хорошо видно, что они не оправдали тех больших надежд, которые возлагались на эту парадигму в процессе ее становления, поскольку носили в основном частный характер. Что же касается глобальных языковедческих гипотез (выдвинутых, например, генеративной лингвистикой Н. Хомского), они не получили адекватного лингвистического решения. Все это, в совокупности, и обусловило недолговечность системно-структурной парадигмы, просуществовавшей в общей сложности чуть более пятидесяти лет.

Последующее развитие лингвистики связано с теми общенаучными воззрениями, которые стали складываться еще в начале нашего столетия, когда в мировой философии дала о себе знать кризисная ситуация, обусловленная крушением старых изоляционистских представлений, в соответствии с которыми человек рассматривался как замкнутое в себе самодостаточное существо. Философия отреагировала на нее становлением целой серии экзистенциальных концепций (первые из которых, в том числе русских философов, оформились или накануне, или почти сразу после мировой войны 1914 – 1918 гг.), стремительным развитием аксиологии – науки о познавательной деятельности человека и окончательным превращением герменевтики из чисто прикладной дисциплины, имевшей дело с каноном правил об обращении с текстами,

во всеобъемлющую науку о понимании. В итоге на передний план выдвинулась важнейшая из проблем – проблема взаимоотношений человека со всем сущим (обществом, природой, Богом). В других науках, объединенных интересом к различным видам и формам человеческого существования (в первую очередь духовного), аналогичная кризисная ситуация заявила о себе примерно в середине нашего столетия (где-то чуть раньше, где-то чуть позже). Но реакция на нее была той же самой, что и в философии. В психологии возобладала тенденция (наметившаяся в работах Л.С. Выготского и К.Г. Юнга) к социальной интерпретации сознательного и бессознательного в человеческой психике; в биологии и смежных с нею науках приоритетные права приобрели экологические воззрения. В этих условиях лингвистика довольно быстро осознала, что недостатки структурных направлений являются следствием непреодоленного до конца изоляционизма, но уже не на уровне отдельных языковых элементов (как это было в рамках элементно-таксономической парадигмы), а на уровне языка в целом, анализировавшегося в полном соответствии с требованием Ф. де Сюзюра рассматривать его «в самом себе и для себя». Тем самым был расчищен путь для новой, третьей по счету, номинативно-прагматической парадигмы, ориентированной на изучение внешних связей языка – с действительностью, которую он отражает, и с человеком, которому он служит.

Становление этой парадигмы началось на рубеже 50-60 гг. В сфере лексикологии, словообразования и морфологии (прежде всего аспектологии, которая с давних пор является своеобразным полигоном для испытания всякого рода новых идей и методик). Позднее (примерно через десятилетие) она распространила свое влияние и на синтаксис, в рамках которого две предшествующие парадигмы оказались недостаточно результативными. К настоящему времени формирование номинативно-прагматической парадигмы практически закончилось. И хотя пока за ней не следует блестящая свита совершенных деяний, ее общие контуры вырисовываются достаточно отчетливо, и лингвистика, получившая благодаря ей доступ к проблемам, о существовании которых она буквально вчера даже не подозревала, стремительно меняет свой облик.

В основание каждой парадигмы при ее возникновении легли три теории, каждая из которых претерпела в последующем (или претерпевает сейчас) существенные трансформации, – теория номинации, теория референции и теории речевых актов.

Теория номинации, стоявшая у истоков парадигмы (с точки зрения развертывания последней во времени), вынесла на повестку дня вопрос об отражательных потенциях билатеральных языковых единиц, в том числе и предложений, при номинативной характеристике которых исследователи прошлого довольствовались туманным заявлением о том, что словесные формы, синтаксические связи и отношения в их составе не прямо, а лишь опосредованно отражают соответствующие явления, связи и отношения внешнего мира. Изучение действующих здесь закономерностей осуществлялось и осуществляется на базе следующих основополагающих принципов:

- язык, будучи инструментом общения, в то же самое время является социальным руководством к духовному (мыслительному) освоению окружающего мира;

- отражение сущностных структур бытия язык способен обеспечивать благодаря тому, что, предоставляя в распоряжение мышления свои категории и формы, он создает тем самым все необходимые условия для систематизации действительности, без чего само существование человека невозможно даже биологически;

- процесс систематизации данных опыта протекает на основе минимумов, взятых из действительности, но категоризованных языком различных признаков, которые и разрешают сведение бесчисленного множества явлений, свойств, отношений и связей мира к конечному набору языковых классов;

- инвентарь избираемых различных признаков (образующих сигнификат того или иного знака), несмотря на то, что они имеют объективную основу, в определенной степени условен и меняется от языка к языку. Однако эти различия в способах моделирования действительности (членения и систематизации ее) не препятствуют адекватному восприятию мира людьми, говорящими на разных языках;

- языковая номинация предполагает не только «собираение мира в слово» (Г.-Г. Гадамер), но и ролевую спецификацию самих

номинативных единиц, которые способны выполнять строго определенные функции.

Взятые по отдельности, эти принципы не представляют собой ничего существенно нового: соответствующие соображения уже не раз высказывались представителями самых разных лингвистических направлений. Но сведенные воедино и ставшие специфическим инструментом языкового познания, они буквально удесътерили свою объяснительную силу и создали все необходимые предпосылки для конкретных исследований, ориентированных на выявление и систематизацию номинативных потенций тех или иных языковых единиц.

В последние годы теория номинации, казалось бы, вполне отстоявшаяся, обнаруживает явную тенденцию к внутренним перестройкам, что обусловлено начавшимся переосмыслением характера ее отношений с вторым концептуальным источником номинативно-прагматической парадигмы – теорией референций. Эта теория изначально принадлежала к числу познавательных средств логической науки, освоенных ею еще в XIX столетии (прежде всего в работах Г. Фреге) (Фреге 1884), и до сих пор сохраняет в новой для нее, языковедческой сфере, куда она была перенесена сравнительно недавно, отчетливые следы своего происхождения. Это, в частности, находит отражение в представлениях о возможностях ее приложимости. Нередко задачу теории референции видят в изучении отнесенности к действительности (точнее, к ее объектам – референтам) только актуализованных имен или их эквивалентов. Что же касается предложения, считается, что оно само по себе референциональными свойствами не обладает (Арутюнова 1988). Между тем к настоящему времени сложилось и другое, собственно лингвистическое толкование референции, согласно которому референтную характеристику в процессе актуализации получает именно предложение (точнее, высказывание) и только через него – слова и сочетания слов, остающиеся, вне рамок последнего всего лишь «сырым материалом» (Падучева 1985). Это толкование хорошо согласуется с представлением о речевых действиях говорящего, который в процессе речетворчества вынужден прибегать, выражаясь словами Э. Бенвениста, к процедуре двойно-

го означивания: используя соответствующее номинативное средство, он вначале регистрирует денотат – класс реалий, отвечающий сигнификату, закрепленному за этим средством, а затем – с помощью дополнительных средств выделяет референт, представляющий собой отдельно взятый, доведенный до порога узнавания элемент денотативного класса (Бенвенист 1974). Но если это так, есть все основания квалифицировать номинацию как родовое понятие, включающее два тесно связанных и взаимно предполагающих видовых понятия – обобщающую (денотативную) номинацию и номинацию индивидуализирующую (референционную). Первая из них обеспечивает категориальную объективизацию жизни в языковых формах, а вторая является чем-то вроде обратного перевода категориальных объективизаций на язык конкретных фактов. Иными словами, теория номинации (в случае ее расширительного толкования) ориентируется на изучение закономерностей, действующих на дороге с двусторонним движением: из мира в язык и назад в мир.

Третий концептуальный источник номинативно-прагматической парадигмы – теория речевых актов – принадлежит к числу наиболее поздних внелингвистических приобретений этой парадигмы. Сформировавшись в рамках аналитической философии (в работах Дж. Остина), она явилась для языковедения прекрасным документом анализа тех принципов и правил, которые регулируют речевое поведение коммуникантов, ставящих и решающих в процессе общения определенные цели и задачи. Тем не менее период ее самостоятельного существования оказался сравнительно недолгим, поскольку она вскоре влилась в более общую дисциплину, называемую прагматикой. Становление прагматики означало, что новая парадигма закончила, фигурально выражаясь, строительство собственной «колокольни», откуда открываются новые дали и становятся более различимыми связи между явлениями, замеченными еще старыми парадигмами. Но, разумеется, она пока увидела далеко не все, что ей доступно (это может быть результатом второго, «нормального» периода ее развития). В частности, ей не вполне ясны принципы разделения сфер влияния между двумя ее составляющими – теорией номинации и прагматикой. Как раз отсюда и

проистекает множественность взглядов на предмет и задачи прагматики: одни склонны полагать, что в ее ведение должен отойти весь концептуальный уровень языка, другие рассматривают ее как науку о функционировании языковых знаков в речи, третьи готовы ориентировать ее на изучение факторов, лежащих вне языковой системы – в первую очередь различных параметров речевой ситуации, к главнейшим из которых относится фигура говорящего и т. д.

Наиболее приемлемым представляется узкое понимание прагматики, в своих общих чертах восходящее к Ч.У. Моррису и предполагающее анализ внешних связей языка с говорящим, т.е. анализ всех тех явлений, которые имеют прямое и непосредственное отношение к субъективной интерпретации сообщаемой объективной информации (Моррис 1983). Такого рода ограничение сферы действия прагматики имеет принципиальный характер, так как позволяет перейти к непосредственной практической реализации идеи о двучастности (двuasпектности) содержательной структуры предложения, давно уже дискутируемой в рамках логико-философской науки (ср. соответствующие воззрения схоластов, Р. Декарта, Г. Фреге, Б. Рассела), а в последние 60-70 лет проникшей и в языковедение (ср. концепции Ш. Балли и И.П. Распопова). В соответствии с этой идеей предложение предстает как языковой (в широком смысле слова) феномен, который с одной стороны именуется тот или иной коммуникативно значимый фрагмент действительности (номинативный аспект), а с другой – обеспечивает коммуникативное сотрудничество говорящего и слушающего за счет сообщаемых первых сведений о своих оценках и речевых установках (прагматический акцент).

Узкое понимание прагматики обнаруживает свою продуктивность и еще в нескольких отношениях. Во-первых, оно сближает язык с другими средствами передачи информации, например с искусством и литературой, которые также предполагают и отражение сущего, и осмысление важности отображаемого для человека как социального существа. Во-вторых, оно упрочивает связи между лингвистикой и когнитологией как наукой о способах получения, переработки, хранения и передачи информации. И, наконец, в-третьих, благодаря ему умножается количество точек соприкоснове-

ния между языковедением и философской наукой о понимании – герменевтикой. Все это – линии очень высокого напряжения, способные питать десятки разнообразных объяснительных моделей, раскрывающих такие закономерности функционирования языковых единиц, которые замкнутый в себе лингвистический анализ просто не видит (как не видит из своего окопа солдат общей панорамы военной операции, в которой он участвует).

Но какими бы значительными ни были достоинства рассматриваемого понимания прагматики, это совсем не значит, что именно оно будет принято лингвистикой в дальнейшем. Здесь возможны самые неожиданные повороты событий, способные повлечь за собой некоторые смещения исследовательских акцентов, определенные терминологические перестройки и т.д. Но последние не в состоянии изменить самого главного: в любом случае изучение языка в пределах номинативно-прагматической парадигмы сохранит жесткую привязку к двум уже упоминавшимся координатам, определяющим ее существо, – к действительности, которую язык отражает, и к говорящему человеку, которому он служит.

Литература

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
2. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 245.
3. Яковенко И. Так ли уж необходимо действительное, или Альтернативна ли история? // Знание – сила. 1994. № 5. С. 4 и след.
4. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. Т.1.М., 1989. С. 66.
5. Frege G. Grundlagen der Arithmetik. Breslau, 1884.
6. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988. С. 154.
7. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
8. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 69 и след.
9. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1973. С. 62 и след.

ЛИНГВИСТИКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

(Впервые опубликовано: «Вестн. Воронеж. ун-та». Сер. 1,
Гуманит. науки. – 1996. – N 1. – С. 76–85.)

Во все времена лингвистическая наука чутко реагировала на достижения философской мысли, оперативно преобразуя в соответствии с новыми идеями, пришедшими из философии (прямо или через посредников – биологию, психологию, логику и т.д.), и свой концептуальный аппарат, и свою методику обработки эмпирического материала. Так было в первой четверти XIX в., когда овладевшая умами европейцев философская идея всеобщего развития побудила лингвистику, работавшую под флагом элементарно-таксономической парадигмы, перевести использовавшийся ею метод сравнения на исторические рельсы, что, как известно, оказалось весьма результативным и поставило лингвистику в ряды «строгих» наук. Так было и на рубеже XIX–XX столетий, когда возникшие в рамках философии представления о системной организации всего сущего (в том числе и социальных объектов), проникнув в языковедение, привели к формированию системно-структурной парадигмы, в наследство от которой нам досталась новая лингвистическая наука – фонология и ряд плодотворных научных проблем, которые еще долго будут оставаться в центре внимания языковедов. Но особенно интенсивными связи лингвистики с философией стали во второй половине XX в. скорее всего потому, что они приобрели двусторонний характер. Теперь уже не только лингвистику интересует, что происходит в философском «огороде» – сама философия включает в круг своих исследовательских интересов феномены языкового плана.

В первую очередь это относится к так называемой аналитической философии, роль и значение которой для лингвистики в полной мере еще не оценены, хотя уже сейчас видно, что от ее влияния нам нельзя избавиться, как нельзя оторваться от собственной тени. Эта философия, заявившая о себе в первой четверти нашего столетия (преимущественно в англосаксонских странах), с самого начала не была внутренне единой, поскольку ее представители,

декларировавшие поворот философии к языку, анализ которого, по их мнению, был призван дать ключ к решению многочисленных философских и методологических проблем, ставили перед собой разные задачи. Однако подробный обзор оформившихся в ее рамках течений был бы просто избыточным, отчасти потому, что опыты такого обзора уже предпринимались, отчасти потому, что, будучи поучительным для философов, он мало что дает лингвистам, наука которых испытала в основном воздействие одного из этих течений – лингвистической философии, у истоков которой стояли Э. Мур и Л. Витгенштейн. Лингвистическая философия на протяжении 30–50-х гг. нашего столетия внедрила в исследовательское сознание идею о необходимости изучения «обыденного» языка со всеми его «поверхностными» противоречиями и «ловушками», и эта идея несколько позднее (начиная с 60-х гг.) обусловила сближение проблематики и исследовательских подходов лингвистической философии, с одной стороны, и современного языковедения – с другой (причем такое сближение происходило даже в тех случаях, когда общефилософские представления философов-аналитиков и языковедов оказывались диаметрально противоположными). Результатом этого сложного и противоречивого процесса явилось формирование двух важнейших лингвистических теорий – теории номинации и прагматической теории.

Теория номинации непосредственно восходит к идеям Л. Витгенштейна, который в своем «Логико-философском трактате» (написанном еще в 1918 г.) впервые со всей определенностью подчеркнул, что традиционная проблема соотношения мышления и реальности может получить свое решение в том и только в том случае, если она будет опосредована решением проблемы связей языка и реальности, поскольку мыслительная деятельность человека осуществляется преимущественно (хотя и не исключительно!) на базе языка. Один из его главных тезисов гласил, что предложение как основная единица языка есть «образ действительности» (в том смысле, что оно называет некоторые «положения дел» в окружающем нас мире), из чего вытекало, что основные усилия исследователей должны быть направлены на изучение отношений языково-

го факта к реальному факту – тех отношений, которые позволяют первому быть символом второго².

Языковедческую значимость этих констатаций Л. Витгенштейна трудно переоценить, однако они даже в 50-е гг. продолжали оставаться вне поля зрения лингвистов, которые довольствовались туманными и противоречивыми представлениями об отражательных потенциях языковых единиц, особенно предложений. (Например, авторы академической «Грамматики русского языка», отмечая, что связи и отношения слов в предложении опосредованно отражают связи и отношения реальной действительности, в то же время утверждали, что, в отличие от слова и словосочетания, предложение является не номинативной, а коммуникативной единицей языка, тем самым отказывали предложению в праве именовать нечто лежащее во внешнем мире³. Причины такого прохладного отношения к идейному наследству Л. Витгенштейна вполне очевидны: лингвистику той поры продолжали интересовать проблемы формальной (структурной) организации предложения. Ситуация начала коренным образом меняться лишь с середины 60-х гг., когда в лингвистике начался «шторм семантических высот». Именно в этот период и происходит – «строительство» номинативной теории, в основание которой легли следующие принципы:

– Язык, будучи инструментом общения между людьми, в то же самое время является социальным руководством к духовному (мыслительному) освоению окружающего мира.

– Отражение сущностных структур бытия язык обеспечивает благодаря тому, что, предоставляя в распоряжение мышления свои категории, он тем самым создаёт необходимые условия для систематизации действительности, без чего само существование человека невозможно даже биологически.

– Процесс систематизации данных опыта ориентируется на минимумы различительных признаков, которые категоризованы языком и которые позволяют сводить бесчисленное множество явлений, свойств, отношений и связей внешнего мира к конечному набору языковых классов .

– Инвентарь избираемых различительных признаков (образующих сигнификат того или иного языка) в определенной степени ус-

ловен и меняется от языка к языку, однако эти различия в способах моделирования действительности не препятствуют адекватному восприятию мира людьми – носителями разных языков.

– Языковая номинация предполагает не только «собрание мира в слово», но и ролевую спецификацию самих номинативных единиц, которые оказываются подготовленными к выполнению в процессе речетворчества строго определенных языковых функций.

Все эти принципы, которые уже не раз обсуждались лингвистами разных направлений и которые раньше привлекали внимание лишь узких специалистов (да и то не всегда!), теперь, сведенные воедино и ставшие специфическим инструментом научного познания (опять-таки не без влияния аналитической философии), удесятерили свою объяснительную силу и создали необходимые предпосылки для конкретных исследований, имеющих целью анализ номинативных потенций самых разных языковых единиц билатерального характера.

Само собой разумеется, что теория номинации, как и все продуктивные теории, не является раз и навсегда данной, застывшей системой лингвистических установлений. Она трансформируется буквально на глазах, причем импульсы к трансформации в одних случаях идут от аналитической (лингвистической) философии, а в других – от самого языкознания.

Примером первого рода может служить изменение представлений об общем характере соотношений предложения и отражаемых им внешних фактов. Для Л. Витгенштейна, как уже упоминалось, предложение есть не что иное, как «образ действительности». Крупнейший представитель современной аналитической философии Я. Хинтиikka склонен полагать иначе: «Предложение само по себе не есть и «образ» положения дел, но представляет, скорее, инструкцию по построению такого образа»⁴. Эта поправка является весьма существенной, поскольку позволяет избежать весьма прямолинейного взгляда на мир, как на кладовую готовых ситуаций, из которых язык отбирает нужную, облекает ее в соответствующие одежды и пускает в речевой оборот.

Предложение, конечно же, воспроизводит онтологическое устройство мира и отталкивается от тех «положений дел», кото-

рые в нём наличествуют (здесь Л. Витгенштейн, безусловно, прав), но поступает при этом не по принципу зеркала, отражающего все, что попадает в его «поле зрения», а избирательно, следуя велениям нашего языкового сознания, которое преодолевает континуальную нерасчлененность мира и с опорой на свойственные данному языку синтаксические схемы целенаправленно регистрирует, что именно этот, а не другой (коммуникативно нерелевантный) элемент существует в зоне наблюдения. В итоге объективность запечатленного предложением фрагмента мира оказывается «зараженной» субъективными человеческими устремлениями и даже более того – существенно преобразованной ими.

Нельзя не учитывать и еще одно немаловажное обстоятельство. Зеркало (если вернуться к нашему сравнению) довольствуется отражением одного лишь наличного бытия, погружая все, что лежит за пределами сиюминутной экзистенции, в пучину небытия. Человек, вынужденный жить в меняющемся мире и учитывать его временные извивы, напротив, не может удовлетвориться такой предельно общей дифференциацией сущего. Именно поэтому он не только тщательно структурирует бытие (противопоставляя, например, ставшее бытие продолжающемуся или завершающемуся бытию), но и оживляет небытие, населяя его сущностями, извлеченными им из воспоминаний, предвосхищений будущего, желаний и даже фантазий.

Конечно, сказанным не исчерпываются все грани сложного процесса «мировоспроизводства». Но оно позволяет сделать однозначный вывод по интересующей нас проблеме: полагать, будто за пределами языка, в отражаемом нами мире, находятся вполне готовые ситуации (а не материал для них, который определенным образом преобразуется языком!) – всё равно, что искать гончарные изделия в глиняном карьере, мебельные гарнитуры – в лесу, а сдобные булочки – на пшеничном поле. Концептуальные поправки второго рода, которые, как уже говорилось выше, являются естественным следствием переоценки ценностей в самом языкознании, коснулись в основном представлений о соотношении теории номинации с теорией референции. Эта последняя, освоенная лингвистикой сравнительно недавно, изначально принадлежала к чис-

лу познавательных средств логической науки, найденных ею еще в XIX столетии (прежде всего в работах предшественника аналитической философии Г. Фреге), и до сих пор сохраняет в новой для нее области отчетливые следы своего происхождения. Это, в частности, находит отражение во взглядах на сферу ее приложимости. Нередко, вслед за Г. Фреге, задачу этой теории видят в изучении отнесенности к действительности (точнее к ее объектам – референтам) только актуализованных имен или их эквивалентов. Что же касается предложения, считается, что оно само по себе референционными свойствами не обладает⁵. Но к настоящему времени сложилось и другое, собственно лингвистическое толкование референции, согласно которому референтную характеристику в процессе актуализации получает именно предложение (точнее высказывание) и только через него – слова и сочетания слов, остающиеся вне рамок последнего всего лишь «сырым материалом»⁶.

Это толкование референции вполне согласуется с хорошо известным фактом двойственности языка (если последний понимать широко – как один из видов человеческой деятельности): с одной стороны, язык не может существовать не обобщая – в противном случае он превратился бы в грандиозную коллекцию этикеток, освоить которую человеческий ум был бы просто не в состоянии, с другой стороны, язык не может существовать не конкретизируя – в противном случае люди просто не поняли бы друг друга. Именно эта языковая двойственность обязывает говорящего прибегать в процессе речетворчества, по счастливому выражению Э. Бенвениста, к процедуре двойного означивания: используя соответствующее номинативное средство, он вначале регистрирует денотат – класс реальных, отвечающих сигнификату, закрепленному за этим средством, а затем с помощью определенных процедур указывает на референт, представляющий собой отдельно взятый, доведенный до порога узнавания элемент денотативного класса⁷. Отсюда следует, что есть все основания квалифицировать номинацию как родовое понятие, включающее два тесно связанных и предполагающих друг друга видовых понятия – обобщающую (денотационную) номинацию и номинацию индивидуализирующую (референционную). Первая из них обеспечивает категориальную

объективацию жизни в языковых формах, а вторая является чем-то вроде обратного перевода категориальных объективаций на язык конкретных фактов. Иными словами, теория номинации ориентируется на изучение закономерностей, действующих на дороге с двусторонним движением: из мира в язык и назад – в мир. Но если это так, теория референции, естественно, должна рассматриваться как часть теории номинации (а не как нечто рядоположное с ней!), и, значит, принципы, которые были выработаны теорией номинации на предшествующем этапе и которые мы уже упоминали, могут прилагаться не к номинации вообще, а лишь к номинации обобщающей (денотационной).

В итоге обнаруживается, что теория номинации, получив первоначальный толчок от лингвистической философии, развивается уже по своим языковедческим канонам и, как мощная река, все дальше и дальше удаляется от своих истоков.

Формирование второй, прагматической, теории шло не менее сложными и противоречивыми путями. С очень большой долей условности можно считать, что ее отправным пунктом является теория речевых актов Д. Остина, виднейшего представителя оксфордского течения лингвистической философии, которое ставило своей целью разработку позитивной концепции языковой деятельности⁸.

Эта теория, в рамках которой были разграничены три вида речевых актов – локутивный, т.е. сам процесс говорения, иллокутивный, реализующий какую-то из установок сообщения (просьбу, приказ, совет и т.д.), и перлокутивный, отражающий эффект воздействия высказывания на адресата, явилась для лингвистики надежным инструментом анализа интенциональных действий говорящего, ставящего и решающего в процессе языковой коммуникации различные задачи. Позднее, однако, обнаружилось, что вопросы, поднимаемые теорией речевых актов, представляют собой лишь составную часть того комплекса вопросов, которые касаются субъективного осложнения сообщаемой объективной информации. Это потребовало включения ее в более мощную по своим эвристическим потенциалам теорию. Ею как раз и стала прагматическая теория значения, сформулированная американскими аналитиками под непосредственным влиянием прагматизма – философского те-

чения, восходящего к Ч.С. Пирсу (откуда, собственно, и пришла соответствующая терминология). В своем лингвистическом варианте прагматическая теория очень быстро трансформировалась в особую дисциплину, цели и задачи которой трактуются крайне противоречиво. Одни склонны думать, что в ее ведение должен отойти весь концептуальный уровень языка, другие рассматривают ее как науку о функционировании языковых знаков в речи, третьи готовы ориентировать ее на изучение факторов, лежащих вне языковой системы, – в первую очередь различных параметров речевой ситуации, к главнейшим из которых относится фигура говорящего, и т.д. В этих условиях границы между номинативным и прагматическим аспектами оказываются предельно размытыми. Не будем гадать, на каких путях произойдет преодоление этой концептуальной множественности. Для нас сейчас важнее другое: становление прагматики (как бы ее ни определять) означает, что лингвистика к настоящему времени закончила «строительство» новой, номинативно-прагматической парадигмы, видящей свою цель в изучении внешних связей языка – с действительностью, которую он отражает, и с говорящим человеком, которому он служит.

Изменение исследовательского угла зрения, обусловленное этой парадигмой, имеет своим следствием не только постановку принципиально новых проблем, о существовании которых лингвистика буквально вчера даже не подозревала, не только выработку новой методики анализа эмпирического материала, но и – что самое важное – новое понимание природы и сущности человеческого языка. Специфические особенности этого понимания становятся наиболее заметными при ретроспективном взгляде на вещи, т.е. при сравнении номинативно-прагматической парадигмы с ее, уже упомянутыми выше, предшественницами.

Первая по времени, элементарно-таксономическая парадигма возникла со становлением лингвистики как науки и усматривала свою цель в том, чтобы выявить и систематизировать основные единицы таких уровней языка, как фонетика, лексика, морфология и синтаксис. Ее основным методом стал метод сравнения, носивший вначале синхронный, а затем – исторический характер. Этот метод использовался в рамках формально ориентированного

способа координации двух языковых планов (плана выражения и плана содержания), т.е. предполагал в первую очередь квалификацию различных видов языковой формы – как явления, данного исследователям в прямом и непосредственном наблюдении. Соответственно языковое содержание рассматривалось лишь попутно – как нечто закономерно вытекавшее из формальных различий, причем сплошь и рядом оно не отделялось с надлежащей строгостью от содержания мыслительного (ярким примером чего может служить общеизвестное соотносительное определение предложения и суждения, которые рассматривались так, как если бы они были разными сторонами – формальной и содержательной – одного и того же феномена).

Теоретические представления, которыми руководствовались исследователи, работавшие в русле элементарно-таксономической парадигмы, обусловили такое понимание языка, для которого существенными были следующие моменты:

– Язык не образует самостоятельного «царства», поскольку он тесно спаян с мышлением, которое он и призван внешне обнаруживать.

– Язык соотносится с действительностью не прямо, а через посредство мышления.

– Язык материален.

– Главной функцией языка является функция коммуникативная (инструментальная), обеспечивающая общение членов одного языкового коллектива.

Именно эти моменты и были предельно заострены в хорошо известной констатации К. Маркса и Ф. Энгельса, аккумулировавшей опыт языковедения середины XIX столетия: «На “духе” с самого начала лежит проклятие – быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание: язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем существующее и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает из потребности, настоятельной необходимости общения с другими людьми»⁹.

Вторая по счету, системно-структурная парадигма, утвердившаяся в начале XX столетия, как известно, перенесла центр тяжести в лингвистическом исследовании на языковую имманентность, поскольку основывалась на допущении, что элементы языка могут быть квалифицированы с достаточной полнотой и необходимой строгостью только в том случае, если они будут рассматриваться как составные части более широкого универсума, представляющего собой систему и определяющего наиболее существенные (приобретенные в системе) свойства каждого отдельно взятого элемента.

Смена представлений о целях и задачах лингвистики, вполне естественно, привела к решительному реформированию общих взглядов на природу и сущность языка. Если обобщить замечания, сделанные на этот счет Ф. де Соссюром, с именем которого связано становление структуралистских воззрений, то окажется, что то понимание языка, которое существовало в XIX в., изменилось у него с точностью «до наоборот»:

– Язык есть идеальный феномен, отложенный в головах индивидов социальной практикой, и в этом своем качестве противоплагается речи, через которую осуществляется его материальная манифестация.

– Язык образует самостоятельное «царство», поскольку представляет собой замкнутую в себе систему знаков, жестко ограниченную от всех других смежных явлений, в том числе и от мышления (с последним связана только речь).

– Единственной функцией языка является экспрессивная (выразительная), поскольку он есть система знаков, выражающих идеи; коммуникативная (инструментальная) функция принадлежит речи¹⁰.

Последняя по времени, номинативно-прагматическая парадигма, о которой много говорилось несколько выше, позволяет трактовать язык более взвешенно, избегая крайностей предшествующих парадигм:

– Язык есть один из видов человеческой деятельности, который подобно другим видам деятельности (труду, науке, искусству) обладает рядом диалектических противоречивых черт. В одно и то же время он является феноменом социальным (вы-

рабатывается коллективом и служит этому коллективу) и индивидуальным (используется каждым отдельно взятым членом коллектива), материальным (обнаруживается в определенных цепочках звуков или письменных знаков) и идеальным (предполагает наличие у говорящих знаний, умений, навыков по его практическому использованию, иначе выражаясь, языковой компетенции), стабильным (остаётся относительно устойчивым на протяжении жизни нескольких поколений) и изменчивым (преобразуется исторически).

– Язык выполняет две функции, обуславливающие друг друга: коммуникативную (инструментальную) и отражательно-интерпретационную. Это связано с тем, что язык, будучи по своей природе диалогичным, не может не служить средством общения, но обеспечивать речевые контакты членов коллектива он способен лишь при условии, что последний располагает тождественными «программами» языкового членения и моделирования действительности¹¹.

– Язык образует особое «царство» (со своим планом выражения и планом содержания, отличным от содержания мыслительного), но оно подчинено «царству» мысли. Мышление, осуществляемое у животных на невербальной основе, выработало у человеческого существа мощное вспомогательное средство – язык, благодаря чему возможности развития самого мышления стали поистине беспредельными.

– Язык находится между действительностью и мышлением, опосредует их связь, позволяя тем самым мышлению совершаться в слове, а отнюдь не фиксирует конечные результаты мыслительного процесса, совершающегося неизвестно на какой основе.

Необходимо, однако, иметь в виду, что упомянутые представления о языке лишь вытекают из самой сути номинативно-прагматической парадигмы. Всеобщее распространение в среде специалистов они пока не получили. Это, вероятно, дело недалекого будущего, которому, кстати сказать, предстоит осуществить методическую дифференциацию языка, учитывающую различные его аспекты, и выработать соответствующую непротиворечивую терминологию.

Подытоживая наши размышления о связях современной лингвистики и аналитической философии, особо оговорим два существенно важных обстоятельства, об одном из которых мы упоминали лишь вскользь, а о другом не упоминали вообще.

Во-первых, воспринимая идеи аналитической философии, касающиеся связей языка с действительностью и говорящим человеком, наша наука вовсе не обязана автоматически усваивать и общепhilosophические воззрения этого направления. Поэтому вполне естественной кажется ситуация, когда лингвист, работающий в русле номинативно-прагматической парадигмы, сформированной, как уже не раз говорилось, под воздействием аналитической философии, будет совершенно равнодушен (или даже будет относиться с очевидным скепсисом) к неопозитивистским ее основам.

Во-вторых, философия сплошь и рядом оказывает влияние на те или иные области научного знания и прямо (тем, что приобщает их к каким-то своим идеям), и косвенно (тем, что создаёт необходимый «климат» для возрождения аналогичных идей, гораздо раньше выработанных в их рамках, но почему-либо отвергнутых ими). Так, мысли о том, что язык опосредует связь мышления и действительности, логически вытекающая из концепции Л. Витгенштейна, для лингвистики не была принципиально новой. Ее высказал ещё в XIX столетии В. фон Гумбольдт¹². Однако лингвистика того времени просто не могла принять ее, отчасти потому, что, занятая решением совсем иных задач, была не готова к этому, отчасти потому, что из этой мысли В. фон Гумбольдтом были сделаны выводы, с которыми она не могла согласиться. Последние (предельно заостренные позднее в известной гипотезе Сепира-Уорфа) состояли в том, что языку была приписана рольдемиурга действительности, который – как следствие – определяет характер национального мышления. К настоящему времени крайности этнолингвистической концепции этого выдающегося мыслителя прошлого уже преодолены. Современная лингвистика вполне отдает себе отчёт в том, что человеческий язык волен обращаться к любым способам организации и систематизации данных опыта, использовать любые, подчас самые неожиданные технические средства и приемы, но не имеет права лицедействовать и лукавить

(как это, например, делает искусство) – в противном случае наша жизнь в мире из-за превратных представлений о нем (навязанных языком, которому мы себя вверяем!) стала бы вообще невозможной. И теперь, в новых условиях, кардинальная мысль В. фон Гумбольдта, намного опередившая свое время, будучи освобожденной от груза некорректных напластований, легко и естественно займёт надлежащее место в идейном арсенале нашей науки.

¹ См., например: К о р и ф о р т М. Марксизм и лингвистическая философия. Б.г.Б.м.: К о з л о в а М. С. Философия и язык. М., 1972.

² В и т г е н ш т е й н Л. Логико-философский трактат. М., 1958, § 4.

³ См.: Грамматика русского языка. Т. II: Синтаксис. Часть первая. Введение. М., 1954.

⁴ Х и н т и к к а Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980. С. 53.

⁵ А р у т ю н о в а Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988. С. 154.

⁶ См. Г а к В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики – 1972. М., 1973; П а д у ч е в а Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.

⁷ Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 69 и след.

⁸ A u s t i n I. Philosophical papers. L., 1970.

⁹ М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Немецкая идеология // Сочинения. 2-е изд. Т. 3. С. 29.

¹⁰ См.: С о с с у р Ф. д е. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М., 1977.

¹¹ Указывая на недостаточность инструменталистской концепции, П. Серию не без основания отметил, что она негласно предполагает, "будто субъекты обмениваются информацией о некоей заранее расчлененной и заранее структурированной реальности" (С е р и о П. В поисках четвертой парадигмы // Философия языка в границах и вне границ. Харьков, 1993. С. 51).

¹²Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М., 1984, С. 80 и след.

ГРАММАТИКА: СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ

(Впервые опубликовано: «Русский язык вчера, сегодня, завтра». – 2000. – С. 8–12.)

1. Вопрос о том, что такое грамматика и какие явления должны квалифицироваться как грамматические, относится к числу «вечных» вопросов языковедения, хотя на арене лингвистических дискуссий он появляется лишь в переломные периоды развития научной теории. Конец XX века в лингвистике обладает всеми чертами именно такого периода. За короткий срок на горизонте нашей науки появились и активно разрабатываются новые исследовательские направления (ср. хотя бы прагматику и когнитивную лингвистику), в корне изменившие её облик. В их недрах вырелась целая серия перспективных идей и методик анализа, не желающих считаться с теми хлипкими демаркациями в грамматике, которые были установлены на основе данных прошлого научного опыта. А это значит, что лингвистика наших дней стоит на пороге очередной реформации лингвистических констатаций, к которой мы основательно уже привыкли. В сложившихся условиях полезно оглянуться назад и посмотреть, как менялось в далёком и недалёком прошлом наше понимание и грамматической науки в целом, и отдельных её составляющих, с тем, чтобы выявить тенденции, определяющие существо надвигающихся перемен.

2. Как известно, изначально грамматика имела вид двухчастной науки, предполагающей противопоставление двух её разделов: морфологии, ориентированной на изучение грамматических свойств слова, и синтаксиса, нацеленного на анализ грамматики предложения. Достаточно рано, однако, обнаружилось, что опре-

деленные таким образом рамки грамматики являются слишком узкими. И отнюдь не случайно, что уже с XVIII столетия в грамматические описания последовательно стали включаться сведения о фонетике. Так было в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова, так сделано и в последней по времени академической «Русской грамматике» 1980 года. Авторы этих описаний нередко ищут оправдания столь явному нарушению чистоты общего грамматического принципа. Но эти оправдания вряд ли нужны. Фонетика, так сказать, явочным порядком прочно заняла своё место в ряду грамматических дисциплин, причём отнюдь не без оснований: фонологические разработки нашего столетия наглядно показали, что фонетика, с одной стороны, и грамматика (в её узком понимании), с другой в ряде отношений изоморфны.

Несколько иначе обстояло дело со словообразованием. Обыкновенно учение о нём включали в состав морфологии, рассредоточивая описание конкретного эмпирического материала по отдельным частям речи. При этом, однако, оставалось неясным, где давать общие сведения о словообразовательных и формообразовательных единицах, правилах их сочетаемости и т.д. Авторы академической «Грамматики русского языка» 1954 года в этой связи пошли по компромиссному пути. В «Введение» (!) ими были включены два раздела, где излагались эти сведения: «Основные способы образования слов и форм» и «Понятия основы и корня», а вся конкретная информация о словообразовании и формообразовании различных частей речи оставлена в морфологии. Этот путь в двух последующих академических грамматиках (1970 и 1980 гг.) был отвергнут. Их авторы вынесли «Словообразование» в особый грамматических раздел, предварив его разделом «Морфемика».

После состоявшегося, весьма существенного расширения сфер грамматики вне рамок последней осталась только «Лексикология». Но и здесь к концу 80-х годов наметился определенный прогресс. В «Краткой русской грамматике» под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина (М. 1989) впервые был введен специальный раздел «Слово», в составе которого объединены четыре больших подраздела «Структура слова», «Словообразование», «Морфология» и «Подчинительные связи слов и словосочетаний». Налицо,

таким образом, очень мощная тенденция, обязывающая нас видеть в грамматике науку о принципах устройства всех языковых уровней без исключения.

3. Параллельно с этой тенденцией даёт о себе знать и другая тенденция (правда, менее яркая) – тенденция к пересмотру «сфер влияния» отдельных разделов грамматики и выявлению характера их иерархической организации.

Так, со времён А.А. Шахматова принято изучать словосочетания и все виды грамматических связей слов (в том числе и при словных) в составе синтаксиса. На практике это приводит к тому, что синтаксический подраздел, в котором описываются данные явления, оказывается чужеродным довеском к синтаксису, в котором, как подчёркивал И.П. Распопов, «всё вращается вокруг предложения». В этой связи представляется совершенно справедливым соображение М.М. Копыленко и З.Д. Поповой о необходимости рассматривать сочетаемость слов (и, естественно, грамматические связи, на которых последняя базируется) в составе лексикологии. Это решение вполне согласуется с хорошо известными нам фактами: при анализе сочетаемости звуков мы не покидаем пределов фонетики, а анализ сочетаемости морфов ведётся в рамках всё той же морфемики.

Углубленное изучение отдельно взятых уровней имело своим следствием появление новых терминов и соответствующих им понятий – таких, как фонология, фонотактика, морфонология, фразеология (в широком понимании этого термина) и т. д., что естественно и закономерно. Однако нельзя не видеть, что в отдельных случаях не учитывается иерархия старых и новых терминов и понятий, и они выстраиваются в унылую одномерную цепочку. Вот пример. Во многих пособиях в числе грамматических разделов выделяется «Фонетика и фонология», что представляет дело таким образом, будто речь идёт о рядоположных понятиях. Ещё дальше пошла Грамматика-80, со страниц которой вообще исчез заголовок «Фонетика», последовательно заменённый термином «Фонология». Как бы возражая против этого, М.В. Панов назвал свою хорошо известную работу «Русская фонетика», хотя фонологические сведения из неё отнюдь не исключены: самим фактом

выбора именно этого названия подчеркнута, что фонология логически подчинена фонетике, поскольку изучает всего лишь один из аспектов последней. Заметно также стремление переосмыслить характер отношений между старыми терминами и понятиями. Так, в уже упоминавшейся «Краткой русской грамматике» морфология не прямо противопоставляется синтаксису, как это делалось ранее, а лишь в составе учения о слове, в которое наряду с морфологией включены морфемика, словообразование и т. д. Если оставить в стороне некоторые спорные моменты, в целом такое объёмное видение грамматических явлений можно признать вполне корректным.

4. С учётом двух только что рассмотренных тенденций общее построение грамматики получает следующий вид. Грамматика состоит из четырёх разделов, соответствующих четырём основным уровням языка – уровням звука, морфа, слова и предложения. Эти разделы допустимо именовать, опираясь на существующую научную традицию, «Фонетикой», «Морфемикой», «Лексикологией» (или, может быть, «Лексемикой») и «Синтаксисом».

Если, далее, принять допущение, что языковые единицы, с одной стороны, и речевые единицы – с другой, находятся в отношениях «инвариант – варианты», каждый из грамматических разделов оказывается состоящим из двух частей. Первая их часть предполагает выявление и квалификацию функциональных (для монологического звукового уровня) и семантико-функциональных (для билатеральных уровней) элементов. В фонетике это фонемы, в морфемике – морфемы. В лексикологии (лексемике) – части речи, в синтаксисе – семантико-функциональные типы предложений. Вторая часть указанных разделов носит более конкретный характер, поскольку ориентируется на характеристику вариантных (материальных) явлений. Последние будут описываться с точки зрения их общих и частных свойств, правил порождения и т.д. Однако ядром этого описания станет сочетаемость единиц каждого уровня. В фонетике она будет изучаться в рамках фонотактики, в морфемике – морфонологии (или, может быть, морфотактики), в лексикологии – фразеологии (в том понимании термина, которое предложено М.М. Копыленко и З.Д. Поповой), в синтаксисе – син-

тактики (при условии, что этим термином будет обозначаться сочетаемость предложений в процессе порождения текста).

5. Понимаемая таким образом грамматика (как наука об общих принципах устройства языковых уровней) чётко противопоставляется другой науке – науке об использовании языка говорящим человеком. Общие контуры её пока просматриваются плохо. Однако уже ясно, что в её ведение отойдёт многое из того, что сейчас рассредоточено по разным разделам и даже направлениям языковедения. Соответствующие сведения можно найти в курсах стилистики, культуры речи и риторики, в пионерских исследованиях по теории речевых актов и по когнитивной лингвистике и даже в грамматике, в рамках которой по принципу «некуда больше деть» продолжают рассматриваться орфоэпия, орфография, пунктуация и лексикография, имеющие прямое отношение не к устройству языка, а к использованию его либо в устной, либо в письменной форме. Как называть эту науку, как соотносить в её рамках объективные (учитываемые на подсознательном уровне каждым говорящим, коль скоро он говорящий!) закономерности использования языка с закономерностями субъективного характера (призванными обеспечить успешность коммуникации в данном конкретном случае), как согласовать (в чисто методическом плане!) изучение грамматики, с одной стороны, и этой безымянной науки об использовании языка, с другой, – решать, конечно, будущему. В настоящее же время важно лишь ещё раз подчеркнуть, что всё это не грамматика.

ДВЕ ЖИЗНИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

(Впервые опубликовано: «Подъем». –
2001. – N10. – С. 176–191.)

В сознании многих из нас имя творца «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля не случайно ассоциируется с именем великого Пушкина. Это Даль не-

отлучно находился у постели умирающего поэта, и тот до самой кончины держал в своей слабеющей руке его руку. Это Далю были подарены в память о Пушкине знаменитый перстень-талисман поэта (помните: «Храни меня, мой талисман...?») и его выползина – черный сюртук с «небольшою, с ноготок дырочкою против правого паха» – след роковой пули Дантеса. Почему слово «выползина» знали только Пушкин и Даль...

В 1832 году Даль выпустил книгу «Русских сказок Казака Луганского (пяток первый)». Третье отделение сочло ее крамольной. Даль был арестован, книга изъята из продажи, и мгновенно сострепанное «дело» легло на стол Николая I. Император, к счастью, вспомнил о безупречном поведении лекаря Даля во время Польской кампании, и следствие прекратили. Тогда Даль взял свою книгу и пошел – без всяких рекомендаций! – представляться первому поэту русского Парнаса Пушкину. Тот, полистав книгу, похвалил сказки, но сразу же перевел разговор на другую тему – о русском языке. Владимир Иванович на всю жизнь запомнил слова поэта: «Сказка – сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать – надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще!». И тогда-то, видимо, Пушкин и посоветовал Далю заняться составлением словаря живого русского языка.

Потом были другие встречи. Но особенно интенсивный характер их общение приобрело в сентябре 1833 года, когда Пушкин приехал в Оренбург, где как раз служил Даль, для сбора сведений о восстании Емельяна Пугачева. Даль помогал поэту чем мог и вместе с ним совершил поездку в ставку Пугачева, располагавшуюся некогда в с. Берды. Во время дорожных бесед с Пушкиным Даль много рассказывал ему о своих языковых находках, сделанных в русских селениях. Среди огромной массы ярких и выразительных слов, записанных Далем, внимание Пушкина привлекло слово «выползина» (так крестьяне называли старую кожу змеи, оставленную ею после линьки). И именно это слово вспомнил Пушкин за несколько дней до дуэли при встрече с Далем. Показывая на свой новый, недавно сшитый сюртук, он сказал: «Эту выползину я теперь не скоро брошу». Как оказалось, поэт ошибся...

Все последующие годы Даль не переставал размышлять о феномене Пушкина и, вполне возможно, сопоставлял свою жизнь с жизнью любимого им поэта. Биографы давно уже заметили, что у них с Пушкиным было много общего. Почти сверстники – разница в возрасте всего лишь два года, – оба они учились в Петербурге (один – в Лицее, другой – в Морском кадетском корпусе), почти одновременно жили на берегах Черного моря (один – в Одессе, другой – в Николаеве), оба поссорились с начальством и поплатились за это (один отправился в ссылку в Михайловское, другой попал под суд), оба побывали на Турецкой войне (правда, на разных фронтах и в разном качестве). Однако между ними было и существенное различие. Пушкин, как известно, служил. Но служба не стала для него единственным источником существования и – самое главное – не мешала литературным занятиям, оставаясь чисто номинальной как на Юге, так и в Петербурге. Даль, напротив, только службой мог прокормить свое многочисленное семейство (одиннадцать ртов, как писал он сам в 50-е годы) и, значит, вынужден был служить всерьез и долго. Что же касается литературных занятий и других занятий «для души», им могло быть отведено только внеслужебное время. По этой причине сознательная жизнь Даля, вступающая, по его словам, в права, «когда мы, проспав несколько лет детьми в личинке, сбрасываем с себя кожуру и выходим на свет вновь родившимися, полным творением, делаемся из детей людьми», как бы раздваивается (по крайней мере, в нашем восприятии). Перед нами, с одной стороны, жизнь служилого человека России XIX столетия, а с другой – жизнь творческой личности, нашедшей цель своего земного существования, значение которой выходит за рамки и одного века, и одной страны. Эти жизни отчасти пересекаются (человек все-таки один), отчасти остаются неслиянными, не вполне совпадая даже во времени (так, как если бы речь шла о разных людях).

Первая жизнь Владимира Ивановича Даля, родившегося 10 ноября 1801 года в Луганске Екатеринославской губернии, непроста. Она изобилует крутыми поворотами, которые уготовила ему судьба, и начинается очень рано – в 1814 году, когда тринадцатилетний подросток Даль поступает в Морской кадетский корпус, распола-

гавшийся в Петербурге. Нам неизвестно, что определило выбор Даля: совет отца – выходца из Дании Ивана Матвеевича (Иоганна Христиана) Даля или его собственный романтический настрой, вполне естественный для мальчика, выросшего в приморском городе Николаеве, куда из Луганска переехала семья Далея. Как бы то ни было, выбор оказался неудачным. Корпус Даль закончил неплохо (двенадцатым из 83 выпускников), и в числе лучших гардемарин его направили накануне выпуска в плавание по Балтийскому морю, предполагавшее посещение портовых городов, включая шведские и датские. Но воспоминания Даля о годах учебы в корпусе мрачны, хотя и несправедливы: «замертво убил время», «в памяти остались только розги». А ведь Даль получил прочные знания по математике, картографии, морскому и инженерному искусству, и за все пять лет его, дисциплинированного кадета, ни разу не пороли. Видимо, в этих суждениях слышатся отголоски очень рано вызревшего убеждения, что военно-морская служба никогда не станет для него настоящим призванием, каким она стала для товарища Даля будущего адмирала Павла Нахимова.

Окончив в 1819 году Морской корпус, мичман Даль отправляется к месту службы в Николаев, где продолжали жить его родственники. Казалось бы, все хорошо: Даль дома, вокруг давно знакомые люди. Но недовольство избранной профессией нарастает. К тому же выясняется, что он не в состоянии побороть морскую болезнь: качка каждый раз доводит его до изнеможения. И Владимир Иванович начинает задумываться об отставке. Но тут происходит событие, которое биографы комментируют крайне скупно. Даль пишет эпиграмму на командующего Черноморским флотом вице-адмирала Грейга. Молодого мичмана с фрегата «Флора» отдают по суду, и ему грозит разжалование в матросы. Однако в Петербурге по неизвестным нам причинам к истории отнеслись снисходительно и Даля перевели на Балтику, в Кронштадт, с позволением (что удивительно!) служить на суше (правда, судимость с него сняли, выражаясь современным языком, только через тридцать с лишним лет!). Но Даль, несмотря на послабление, уже не мыслит своей жизни во флоте и в 1826 году «по состоянию здоровья» выходит в отставку в чине лейтенанта.

И здесь судьба Даля делает первый крутой поворот. В этом же году он поступает (теперь уже точно – по примеру отца-врача) на медицинский факультет Дерптского университета. Три года, проведенные в Юрьеве-городке (как любил выражаться сам Даль), запомнились ему навсегда. Владимир Иванович активно участвовал во всех забавах и развлечениях буршей и в то же время интенсивно работал: регулярно выполнял заданный самому себе «урок» (ежедневно заучивал сто латинских слов), подолгу просиживал в библиотеке, сутками не уходил из клиники. Вскоре о Дале заговорили и профессора, и студенты. Об этом позднее напомнил знаменитый хирург Н.И. Пирогов, обучавшийся в том же университете: «Находясь в Дерпте, он (Даль) пристрастился к хирургии и владея между многими другими способностями, необыкновенной легкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором». В его табеле мелькают оценки «очень хорошо», «изрядно хорошо», «отлично». Жизнь складывалась вполне благополучно, и Даль уже прочно связывал свое будущее с Дерптом. Но вскоре выясняется, что Даля призывают на Турецкую войну. В начале 1829 года он, не закончив полного курса обучения, в спешном порядке защищает диссертацию на соискание степени доктора медицины, «излагающую два наблюдения: 1) успешную трепанацию черепа, 2) скрытое изъязвление почек» и едет на Балканы.

На фронте Даля, в недавнем прошлом нерасторопного мичмана, часто служившего предметом насмешек для бывалых моряков, не узнать. Он спокойно и деловито ампутирует раздробленные конечности, зашивает рваные раны, без опаски заходит в чумные бараки, участвует, как заправский солдат, в многочисленных стычках с турками. Мужество военного лекаря Даля отметили орденом святой Анны третьей степени и Георгиевской медалью на ленте. К последней награде Владимир Иванович относился несколько иронически: она выдавалась всем уцелевшим на войне. И, кажется, иронизировал напрасно: из трехсот врачей, призванных в армию, более двухсот погибло от чумы, турецких сабель, пуль и снарядов. Можно лишь благодарить судьбу, сохранившую для нас этого небоязливое человека.

...Турецкая война закончена, но Даль к мирной жизни не возвращается: его отправляют на другую войну – с восставшими поляками, стыдливо именовавшуюся Польской кампанией. Мы не знаем, как Владимир Иванович относился к сей непрестижной для русской армии войне, во время которой погиб его горячо любимый брат, но свой воинский долг он соблюдал свято: делал все, что мог, и даже более того. Во время одного из боев на Висле обнаружилось, что в русских частях нет инженера, который смог бы навести мост через реку. Положение спас Даль, не растерявший знаний, полученных в Морском кадетском корпусе. Из совершенно случайного материала он построил настолько прочную переправу, что по ней оказалось возможным перебросить на противоположный берег Вислы даже артиллерию. О таком из ряда вон выходящем случае генерал Паскевич доложил лично царю, который позднее, припомнив его, приказал прекратить уже упоминавшееся «дело», заведенное Третьим отделением в связи с «крамольной» книгой Даля «Русские сказки Казака Луганского». Соответственно награда Даля за эту войну была солиднее: он получает Владимирский крест с бантом.

В 1832 году Даль в Петербурге, где работает рядовым ординатором военно-сухопутного госпиталя. Даль много оперирует и вскоре заслуживает славу крупного специалиста по глазным операциям. Именно эти операции – как, впрочем, и операции по трепанации черепа), – послужили основанием для последующего (уже в 1838 году) избрания Даля в члены-корреспонденты Академии наук по естественному отделению. Но Владимир Иванович не удовлетворен: в госпитале царят воровство, взяточничество; антисанитария и скудное питание больных сводят на нет все усилия медиков. И снова крутой поворот судьбы: с согласия Даля его «переименовывают», как тогда выражались, из лекарей в коллежские асессоры, и он едет вместе с молодой женой в далекий Оренбург чиновником особых поручений при военном губернаторе.

Семь оренбургских лет (1833-1840 гг.) стали временем непрерывных инспекционных поездок Даля по обширному краю, где рядом с русскими переселенцами и уральскими казаками жили баш-

киры, татары, казахи и представители других национальностей России. Как о чем-то само собой разумеющемся он пишет в одном из своих писем, что проехал в последний раз верхом полторы тысячи километров. Для него привычны ночевки в крестьянских избах, юртах, а то и просто у костра. Деятельный Даль превосходно владеет ситуацией, и военный губернатор без него как без рук. В конце оренбургского периода жизни Владимир Иванович принял участие в неудачном походе на Хиву. Эта война – третья в жизни Даля. И судьба снова пощадила его: он вернулся живым и невредимым, хотя в походе погибло около половины личного состава русского экспедиционного корпуса.

С 1841 года Даль снова в Петербурге. Он чиновник особых поручений при министре внутренних дел, статский советник (почти генерал). В те далекие времена министерство внутренних дел было не только силовой структурой: оно ведало здравоохранением и статистикой, следило за исправным поступлением податей и сооружением памятников, отвечало за выполнение карантинных правил и снабжение народа продовольствием. В этих условиях у Даля, понятно, много дел, и, как свидетельствуют его биографы, он успешно справлялся с ними. Тем не менее к 1848 году в его жизни назревают перемены (в который уже раз!). Мы не знаем, что точно произошло: то ли Даль бесконечно устал от своей беспокойной должности, то ли у него испортились отношения с министром, то ли верхи не устраивала его литературная деятельность. Но что-то произошло, и Владимира Ивановича переводят в Нижний Новгород управляющим удельной конторой.

Здесь у Даля «под рукой» оказалось 35 тысяч крестьян, принадлежавших царской семье. Их селения разбросаны по всей губернии, и, стало быть, снова были поездки, поездки, поездки. Даль хлопочет об улучшении быта своих подопечных, строит больницу, учреждает училище для крестьянских девочек. Но выполнял дела и помельче. Позже крестьяне, знавшие Даля, вспоминали: «Там борону починил, да так, что нашему брату и не вздумать, там научил, как сделать, чтобы с окон зимой не текло да угару в избе не было, там лошадь крупинками своими вылечил, а лошадь такая уж была, что хоть в овраг тащи».

Но к началу десятого года пребывания в Нижнем Новгороде у Даля до предела обострился несколько ранее возникший конфликт с новым губернатором, покровителем воров и взяточников. Он не пошел на мировую, предлагавшуюся ему, а направил губернатору письмо, в котором, между прочим, писал: «Чиновники Ваши и полиция делают, что хотят, любимцы и опричники не судимы. Произвол и беззаконие господствуют нагло, гласно. Ни одно следствие не производится без посторонних видов, и всегда его гнут на сторону неправды. В таких руках закон – дышло: куда хочешь, туда и воротишь...» Это письмо осенью 1859 года привело к естественной отставке («по болезни»). Кончилась жизнь служилого человека Даля, которую он, верный своему принципу: «Я полезу на нож за правду, за Отечество», прожил достойно. К счастью, у Даля оставалось еще 13 лет второй, творческой жизни, благодаря которой мы знаем и помним его имя.

Эта вторая жизнь Даля охватывает события более чем полувекового периода. Ее отсчет ведут с того дня, когда девятнадцатилетний мичман по дороге из Петербурга к месту своей службы на Черном море записал первое любившееся ему слово народной речи «замолаживать». Комментируя его, он отмечает: «Замолаживать – значит пасмурнеть – в Новгородской губернии значит заволакиваться тучами... клониться к ненастью». За первым словом последовали второе, третье, десятое... Но они были записаны уже в Николаеве – от матросов, портовых и фабричных рабочих, жителей окрестных деревень. Здесь же Даль, по свидетельству его биографа П.И. Мельникова (Печерского), расширяет, как теперь выражаются, фронт исследовательского поиска. Его интересуют не только слова, но и пословицы, песни, сказки. Впрочем, пока собирательство для Даля – дело не каждого дня: неожиданно вспыхивает страсть к сочинительству, отнимающая много времени. Даль пишет пьесы, стихи (правда, еще несовершеннолетние). Таким образом, очень рано творческая жизнь Даля начинает протекать по двум руслам. Бок о бок в ней идут сбор материалов народной речи и литературное творчество. И лишь иногда Даль по не зависящим от него обстоятельствам занимается чем-то одним.

Так происходило, в частности, в Дерпте с его немногочисленным русским населением, где просто не от кого было записывать. Здесь Даль полностью отдается сочинению стихов, тем более что у него появляется свой литературный круг. Он вхож в семью университетского профессора-хирурга И.Ф. Мойера, в доме которого собирается цвет городской интеллигенции: бывает собрат Даля по университету поэт Н.М. Языков, часто заходит поэт, прозаик, переводчик, издатель А.Ф. Воейков, иногда появляется В.А. Жуковский, который никак не может забыть своей несчастной любви к покойной Машеньке Протасовой, ставшей в свое время женой И.Ф. Мойера. Даль делает заметные успехи в поэтическом творчестве, и его стихи публикуются в журнале «Славянин». Но он строг к себе и трезв в оценках: ему становится ясно, что поэзия не его стихия. Планы Даля меняются – он переключается на прозу и пишет сказки, оставшиеся неопубликованными, и повесть «Цыганка», увидевшую свет в ноябрьских номерах «Московского телеграфа» за 1830 год, т. е. в то время, когда Даль уже покинул Дерпт. Подписанная просто «В. Даль» (не псевдонимом), повесть не привлекла к себе внимание критиков. Она была явно ученической, хотя и содержала многое из того, что определяло потом творчество зрелого Даля.

Новый жизненный поворот (лекаря Даля призывают на Турецкую войну) заметно меняет характер его внеслужебных занятий. Война, при всех сопутствующих ей ужасах, создала прямо-таки благодатные условия для будущего составителя «Толкового словаря». На сравнительно небольшом пространстве, которое занимали на Балканах русские военные части, оказались сосредоточенными солдаты самых разных губерний и областей – архангельцы и нижегородцы, вологжане и костромичи, куряне и рязанцы, тверичи и вятичи. Даль понимал уникальность ситуации и стремился максимально использовать ее. По вечерам, уставший от работы, он заходил в солдатские палатки, подсаживался к бивачным кострам и расспрашивал солдат о том, как в их деревнях называют те или иные предметы быта, как празднуют свадьбы, какие сказки сказывают, какие песни поют, и тщательно записывал услышанное в любимые им толстые тетради с плотной бумагой. Гора записок росла

не по дням, а по часам, вскоре Даль вынужден перевозить их вместе с небогатым житейским скарбом... на верблюде. Но тут пришла беда: верблюд пропал. Горю Даля не было предела. Позднее в «Напутном слове» к своему словарю он писал: «...я о с и р о т е л с утратой моих записок... Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло». Но мудрый М. А. Булгаков, кажется, прав. Рукописи действительно не горят. Верблюда, живого и невредимого, с мешками бумаг, на которые никто не польстился, вскоре привели казаки. Этот случай научил Даля осторожности. Уже находясь в Оренбурге, он пишет дочерям: «Если у нас в доме случится пожар, то вы не кидайтесь спасать какое-либо имущество, а возьмите рукопись «Словаря» вместе с ящиками, в которых она находится, и вынесите на лужайку, в сад». Вдумаемся в эти слова: человеку не жаль ничего на свете – ни дома, ни всего того, что нажито трудом (Даль ведь не помещик: у него нет земель, нет крепостных, которые были бы неиссякаемым источником дохода), ему жаль то, что для других просто бумажный хлам. Даль, как пушкинский Скупой рыцарь, дрожит над своим богатством. Но когда он узнает, что оно кому-то нужно для д е л а (любимое слово Даля), он охотно расстаётся с ним. Обратился, например, к нему собиратель сказок А. Н. Афанасьев (кстати, воронежец по происхождению) с просьбой поделиться сказками для своего издания. И что же? Даль никогда не видел этого человека, не знает даже его имени-отчества, но раз д е л о, пожалуйста, – вот несколько стопок тетрадей с записями, да еще и присовокупленье: пусть Афанасьев не считает себя чем-то ему обязанным. Та же история – с собирателем народных песен П. В. Киреевским...

Но это будет позже, в Москве. А пока Даль записывает. Круг его балканских собеседников ширится. Среди них промелькивают и воронежцы, заходящие иногда проведать своего павловского земляка – денщика Даля. Денщик, оглядываясь вокруг, не перестает удивляться роскошной южной природе и все повторяет, что ничего похожего он в жизни не видел. А Даль с грустью думает: «Что же ты, бедняга, мог видеть, кроме земли, которую ты пахал в своей Воронежской губернии?»

Ежедневное общение с простыми русскими людьми, проникнутое сочувствием к их судьбе, конечно, умножало словарные запасы Даля. Но оно имело и другое следствие: сын выходца из Дании буквально на глазах превращался в истинно русского человека. Правда, этот процесс начался давно (еще во время учебы в Морском кадетском корпусе, а может быть, и раньше), но теперь он достиг кульминационной точки. И первыми почувствовали это солдаты. Они не воспринимали Даля с его безукоризненной русской речью за чужака. Более того, среди них ходила легенда о крестьянском происхождении лекаря. И понять их можно. Разве будет барин, да еще чужеземец, так дотошно и – главное – со знанием дела выпрашивать тебя о том, как живут-могут в какой-нибудь захолустной деревеньке по Новгородом или в забытой Богом Вятке? Впрочем, и сам Даль ловил себя на мысли, что рассуждает по разным поводам исключительно в русских категориях. Иной стала манера его поведения, чистым русским духом пропахла речь – речь образованного человека, владевшего десятью языками. Даже иронизируя над собой, он выражался, как русский крестьянин: намекая, например, на свой крупный нос, говорил: «Рос, порос да и вырос в нос». Правда, и во время войны, и после войны находились недоброжелатели (странно: среди них даже Т.Г. Шевченко), которые называли его немцем, желая подчеркнуть, что он к нашим русским делам непричастен. Даль не обижался, потому что твердо знал: его отечество – Россия, а значит, все, что происходит в ней, имеет и к нему прямое отношение. И окружающие понимали это. Общее мнение, как уже часто бывало, выразил проникательный В.Г. Белинский: «Не знаем, потому ли он знает Русь, что любит ее, или потому любит ее, что знает, но знаем, что он не только любит ее, но и знает». К сказанному остается лишь добавить, что в старости лютеранин Даль перешел в православие, чтобы обрести вечный покой на русском кладбище. Деталь, конечно, но без нее не поймешь, почему добровольно взвалил себе на плечи непомерно тяжелый груз человек, которому весь резон был держаться от русских забот подальше.

Во время Польской кампании характер занятий Владимира Ивановича меняется еще раз: он не только ведет свои записи, но и

возвращается к литературному творчеству. За год-полтора им написана книга, которая свидетельствовала о рождении нового серьезного русского писателя, скрывшегося под псевдонимом «Казак Луганский», напоминавшем и о том, что автор родился в Луганске, и о том, что во время войны на Балканах, подобно заправскому казаку, он сутками не покидал седла. Правда, книга («Русские сказки. Пяток первый») вышла позже, в 1832 году, когда Даль жил уже в Петербурге. Историю, которая произошла с ней, мы знаем. Книгу оценивали по-разному: сетовали на то, что это вымышленные (литературные), а не настоящие русские сказки, хвалили за то, что она написана очень живым, образным русским языком (вот где оно пригодилось, – собирательство Даля!). Во всяком случае, в Оренбург Даль уехал известным русским литератором, которого знают Пушкин, Плетнев, Одоевский, Погорельский.

Годы, прожитые в Оренбурге, – благодатное время, когда Даль органически сочетал сбор словарных материалов с глубоким изучением края, жизни и быта уральского казачества, сибирских переселенцев, нерусских народностей России, с переводческой деятельностью и, конечно, с литературным творчеством. Одна за другой выходят в свет четыре сборника «Былей и небылиц Казака Луганского», повесть «Бедовик», которая очень понравилась В. Белинскому, семь статей в «Литературной газете» (преимущественно о животных). Но в максимальной степени литературное дарование Даля проявляется в петербургский период его жизни, когда были опубликованы его повести «Вахх Сидоров Чайкин» и «Небывалое в бывалом», целая серия рассказов, очерков, высоко оцененных читателями. У него выработался специфический литературный прием, сущность которого хорошо раскрыл И. С. Тургенев: «Он... смотрит невиннейшим человеком и добродушнейшим сочинителем в мире; вдруг вы чувствуете, что вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые; вы оглядываетесь, – автор стоит перед вами как ни в чем не бывало... «Я, – говорит, – тут сторона, а вы какживаете?» Имя Даля называют в числе крупных представителей «натуральной школы».

Но у Даля, как бы он ни был занят литературой, остается время и для другого, в том числе и для любимого им собирательства слов,

пословиц, сказок, песен. Однако тактика собирательства здесь совсем другая. Через журналы Даль и его друзья обратились к читателям с просьбой присылать в Петербург свои заметки, касающиеся разных сторон народного быта. И вот в руках у Даля бесценные посылки от известных и неизвестных ему добровольных помощников, или «дателей», как называет их Даль.

В Нижнем Новгороде, куда то ли послали, толи сослали Владимира Ивановича, – новая трансформация такой тактики. Конечно, ему продолжают приходить сообщения от многочисленных его корреспондентов; конечно, при каждом удобном случае он выезжает в селения, где живут удельные крестьяне, и там, на месте, продолжает записывать, записывать, записывать... Но в Нижнем есть знаменитая ярмарка, на которую стекаются люди со всей страны. Даль, понятно, это обстоятельство из виду не упускает: по утрам направляется к торговым рядам, неспешно обходит лавки (а их здесь более двух тысяч!), беседует с приказчиками и покупателями - глядишь, к вечеру он с большим прибытком. А там выезжает в очередную, как мы бы теперь выразились, командировку чиновник – Даль к нему с просьбой: записать, как в селении, куда чиновник направляется, называют такие-то и такие-то предметы, как понимают такие-то и такие-то слова. И, значит, опять появляются новые материалы. Или вот встреча с учителем гимназии. Даль объясняет ему, что задуманный словарь будет включать не только народные речения, но и любые слова, бытующие в живом русском языке, и заинтересованный учитель через несколько дней вручает Владимиру Ивановичу тетрадь с гимназическими поговорками и прибаутками.

Регулярные занятия словарем в конце концов привели к тому, к чему и должны были привести: Даль стал прекрасным специалистом своего дела (мы теперь бы сказали – диалектологом), досконально знавшим все русские наречия. Более того, хороший музыкант, он научился буквально на лету схватывать особенности звучащей речи и мог по двум-трем словам, случайно оброненным собеседником, безошибочно угадать, из каких тот мест. В рассказе Даля «Говор» описывается один такой действительно имевший место случай.

...Встретил как-то Владимир Иванович двух монахов, собиравших подаяние на церковное строительство. Разговорились. Молодой монах упомянул, что он вологжанин. Даль насторожился: «А откуда вы родом?» Тот пробормотал едва внятно: «Я тамодий». Услышав это тамодий вместо тамошний, Даль с улыбкой поглядел на него: «А не ярославский ли вы, батюшка?» Тот, растерявшись, ответил: «Не, родимый!» Даль расхохотался: «О, да еще и ростовский!», узнав по тому «не, родимый», «необлыжного ростовца». Монах тут же бухнулся в ноги Дально: «Не погуби!» Оказалось, что под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми документами...

Словарь отнимал у Даля в Нижнем Новгороде львиную долю времени, поскольку теперь он не только собирал материалы для него, но и систематизировал собранное (к моменту отъезда в Москву словарь доведен до буквы П). Однако, как мы помним, Даль всегда умел совмещать массу дел. Так было и на этот раз. Десять нижегородских лет – это и несколько опубликованных на разные темы статей, и вышедшая из печати книга «Матросские досуги» – нечто вроде популярной хрестоматии, – и приведенные в порядок словари языка офеней (бродячих торговцев), шерстобитов, петербургских мошенников (эти словари первоначально предполагалось издать в виде приложения к Толковому словарю), и, наконец, подготовленный к печати сборник «Пословицы русского народа». Сборник получился уникальный. В него вошли 30 тысяч пословиц, из которых предшественники Даля опубликовали только 6 тысяч, т. е. одну пятую часть. С «Пословицами» Дально пришлось претерпеть множество мытарств, так как его оппонентов более чем смущала та прямолинейность, с которой русский человек говорит о духовенстве и властях. Тем не менее сборник напечатали, но только через пять лет в Москве, куда Даль переехал, выйдя в отставку (1861-1862 гг.). Своеобразным напоминанием о том, чего стоила Дально публикация сборника, стал эпитафия к нему: «Пословица несудима». Почти одновременно увидело свет восьмитомное собрание сочинений Даля. Разумеется, не всех. Все не попали даже в Полное собрание – 10 томов), – которое вышло уже после смерти

автора: многое осталось либо рассыпанным по журнальным страницам, либо вообще ненапечатанным.

Покончив с публикационными заботами, Даль сосредоточил внимание исключительно на словаре. О том, какую огромную работу пришлось проделать ему, знают только специалисты. Не-специалисты могут получить о ней самое общее представление лишь на основе следующих фактов. Словарь, прежде всего, огромен: он включает 200 тысяч слов, в том числе 82 тысячи, ранее неизвестных лексикографам. Словарей такого объема не было ни до Даля, ни после него (для сравнения: наш наиболее полный «Словарь современного русского литературного языка», вышедший в 1948-1965 гг., содержит только 120 с небольшим тысяч слов). Немаловажно, что Даль предложил свои собственные, не повторяющие предшествующие словари толкования слов, как правило, яркие и выразительные. Для большей ясности толкований в соответствующие словарные статьи были введены ряды тождесловов (синонимов) и основательные контексты, среди которых заметное место принадлежало пословицам (в отдельных статьях число иллюстративных пословиц превышает сто). Учтем далее, что в словаре Даля даны не только слова и их толкования, дана, сверх того, география слов. Это значит, что в соответствующих словарных статьях содержится – пусть непоследовательно – информация о том, где слово бытует (ср. пометы: архангельское, вологодское, воронежское, новгородское, тверское, олонечкое и т. д.), какие значения имеет одно и то же слово в разных наречиях, какие слова могут передавать одно и то же понятие. И, наконец, не забудем, что в словаре Даля реализован особый алфавитно-гнездовой принцип, в соответствии с которым по алфавиту располагаются не отдельно взятые слова, а целые группы родственных слов, вычленение которых сопряжено с большими трудностями (например, в словарной статье с заглавным словом «баловать» указывается слова «баловство», «баловник», «баловень», «балун», «баловливый» и др.). К 1863 году словарь был подготовлен к печати, и встал вопрос о денежных средствах. У Академии наук их не нашлось. Помогли, по-современному выражаясь, спонсоры, давшие в общей сложности 5,5 тысячи рублей. Даль приступил к изданию словаря. И

опять дело оказалось необыкновенно трудоемким. Прежде всего много сил и времени отняла разработка системы типографских выделений, принявшая необыкновенно прихотливый вид из-за обилия передаваемой информации, и последующая реализация ее в рукописном тексте. Напомним, что пишущих машинок тогда еще не было. Не меньше сил потребовалось и при вычитке корректур. Обыкновенно в издательской практике обходятся двумя, редко – тремя корректурами. Далю, не желавшему, чтобы в словаре остались опечатки, потребовалось четырнадцать корректур. Четырнадцать раз прочитать две с половиной тысячи печатных страниц! И все это сделал один человек, у которого не было даже технических помощников.

Но вот читатели получили долгожданный «Словарь живого великорусского языка» и... пришли в недоумение: что же такое у них в руках? Недоумевал и Даль: «Сам даже не знаю, что у меня вышло». А вышло вот что: капитальное справочное руководство принципиально нового типа (само словосочетание «толковый словарь» введено Далем и получило распространение лишь после него), уникальная энциклопедия русского быта, очень полное описание ремесел и промыслов, своеобразный компендий взглядов Даля по самым разным вопросам, и, наконец, увлекательная книга для чтения.

С выходом в свет «Толкового словаря» к Далю пришла всероссийская и мировая слава. Он получил за словарь Ломоносовскую премию от Академии наук, премию Дерптского университета. Географическое общество отметило труд Даля Константиновской золотой медалью. Общество любителей российской словесности присудило ему звание почетного члена. Несколько позже его избрали почетным членом Академии наук. Но Даль не тщеславен, он иронизирует над своей известностью и продолжает работать: пишет небольшие повести и сказки для детей, усердно собирает слова, пропущенные в первом издании словаря. Однако и вторая, творческая жизнь Даля тоже подходит к концу. 22 сентября 1872 года Владимир Иванович продиктовал своей дочери по с л е д н е е слово для нового издания словаря, и через несколько часов его не стало.

...После смерти Даля минуло почти 130 лет. У нас появилась то необходимое временное расстояние, которое позволяет трезво и непредвзято взглянуть на его наследие. Не будем лицемерить: литературные и некоторые другие произведения Даля уже вне круга чтения современного читателя: они интересны в основном для специалистов – литературоведов и этнографов. Иное дело словарь. Еще современники отметили его недостатки: не оправдал себя алфавитно-гнездовой принцип, который осложняет поиски слова и обедняет семантическую характеристику многих включенных в гнезда слов, неправильным оказалось сближение целого ряда слов, которые на самом деле родственными не являются, и т. д. Мы могли бы добавить: многие слова из Далева словаря уже утрачены русским языком, а массы новых слов в нем нет. Но удивительное дело: словарь продолжает жить! И причина этого не только в том, что он остается прекрасным путеводителем по нашему прошлому. Он более чем современен, поскольку, как выясняется, многие наши проблемы мы можем и должны решать с «оглядкой» на Даля.

Возьмем, например, мучительную для нас языковую проблему, заявляющую о себе в нескольких аспектах. Всем известно, что к настоящему времени наша Россия постепенно стала страной сплошной полуграмотности. Язык у нас коверкают все кому не лень: крестьяне и рабочие, инженеры и врачи, журналисты и политики. Так что же? Смириться с этим неизбежным злом? Даль категорически против. В «Напутном слове» к своему словарю он пишет: «...с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя: словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычание... Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испослеть донельзя, либо, образуясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы». Прислушаемся к этому суровому предупреждению.

А вот и второй аспект все той же языковой проблемы. Давно замечено: чем необразованнее люди, тем охотнее щеголяют он

иностранным словом. Сейчас подобное щегольство приняло массовый характер. Англицизмы настолько заполонили нашу речь, что многие – в том числе и языковеды – задумываются: а может, это вполне естественный способ развития и обогащения русского языка? Даль на этот счет рассуждает иначе, и с ним можно согласиться: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя... но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего... Можно ли отречься от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунеядное, живущее чужими соками?.. Пора подорожить народным языком». И, наконец, русский мат, проникший сейчас в прессу, в художественную литературу... Мнения (очень категоричные) относительно него разошлись: либо запретить, либо легализовать. У Даля, наоборот, очень взвешенная позиция. Он считает: нельзя чьим бы то ни было решением запретить то, что веками отлагалось и пустило крепкие корни в языке. Мат, по Далю, выражает «о с о б о е с о с т о я н и е д у ш и», а раз так, всегда будут существовать экстремальные ситуации, в которых русский человек не может не «оскоромиться». Но за пределами таких ситуаций мат, ставший особенно сейчас чем-то вроде привычной речевой смазки, нетерпим: в одной и той же рубахе на пахоту и на праздник не ходят. И Даль, тщательно систематизировав все энергичные выражения русского народа, оставил их за рамками словаря. Правда, в третье и четвертое издания «Толкового словаря живого великорусского языка» эти выражения все-таки были включены, но это уже решение не Даля, а редактора.

Но только ли языковая проблема волнует Даля? Вчитайтесь в словарь, обратите внимание на подстрочные примечания, и вы заметите, что его заботит многое: экономика и политика, образование и мораль. И везде он размышляет, предостерегает, советует. А это значит, что Владимир Иванович Даль и сейчас продолжает служить своему Отечеству.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВЫСКАЗЫВАНИЕ

(Впервые опубликовано: «Русский синтаксис в лингвистике третьего тысячелетия». – Воронеж, 2006. – С. 10–14.)

Термин «высказывание» появился в отечественном языкознании (да и не только в отечественном) относительно поздно – во всяком случае, позднее термина «предложение». И как это часто бывает с новыми терминами, он с самого начала оброс целой серией значений, которые, по логике замысла, должны были отграничить высказывание от предложения и тем самым оправдать само существование этого термина. Поскольку, однако, такое отграничение осуществлялось по разным основаниям (одни авторы учитывали объем сопоставляемых понятий, соответствующих терминам «высказывание» и «предложение», другие – характер структуры, третьи – их содержание, четвертые – функцию), а привлекаемые для дифференциации одни и те же различительные признаки исследователи относили то к высказыванию, то к предложению, возникавшие трактовки высказывания оказывались или несопоставимыми, или – что еще хуже – прямо противоположными.

Вот некоторые примеры. В подавляющем большинстве концепций высказывание понималось как более широкая по своему объёму единица, чем предложение. Но объемность высказывания виделась по-разному, поскольку она находилась в прямой зависимости от того, какие осложняющие модель предложения явления включались в состав высказывания (например, актуальное членение, интонация, всякого рода парцелляты и т.д.). Положение усугублялось еще и тем, что иногда высказывание предельно расширялось и им считался любой текст (скажем, текст романа). И в то же время существовали концепции, представители которых исходили из того, что высказывание уже предложения: например, самостоятельно употребленное в стилистических целях придаточное с этой точки зрения является высказыванием, но не является, строго говоря, предложением как таковым (это всего лишь часть его).

Отмеченная противоречивость толкований проблемы привела к тому, что уже в начале 70-х годов прошлого века, когда были сформулированы, с одной стороны, не получившие широкого рас-

пространения интересные и реалистичные концепции высказывания (например, В. Матезиуса и М.М. Бахтина), а с другой – скороспелые суждения, незаслуженно приобретшие статус непререкаемых суждений (например, выводы дескриптивной лингвистики), исследователи, занятые обсуждением вопросов синтаксиса предложения и высказывания, фактически заговорили на разных языках, и, учитывая это обстоятельство, И.П. Распопов решительно подчеркнул, что в сложившихся условиях термин «высказывание» не имеет права на самостоятельное существование и может использоваться лишь с определенными оговорками как совершенно необязательный синоним термина «предложение».

Но положение, к счастью, оказалось не столь уж безнадежным. Наука, хотя она и не работает по заранее составленному стратегическому плану, обладает счастливой возможностью выявлять существенные признаки анализируемого явления (пусть не сразу, а лишь постепенно – методом проб и ошибок) и тем самым подготавливать почву для его адекватного истолкования. И эта особенность науки была блестяще продемонстрирована в сфере обсуждаемой проблематики. Уже в 90-е годы в связи с широким распространением в лингвистике логико-философской по своему происхождению теории речевых актов наметилась тенденция к содержательной унификации термина «высказывание». Эта тенденция учитывает два существенно важных момента: во-первых, обязательную включенность высказывания в конкретную речевую ситуацию (речевой акт), без чего оно как таковое не существует, и, во-вторых, возможность кардинального формально-грамматического преобразования типовой структуры, обычно свойственной предложению, в процессе этого включения. Из этого взгляда на вещи с необходимостью вытекает, что предложение и высказывание – феномены, безусловно, разные, но имеющие вместе с тем общее ядро и их размежевание без установления характера данного ядра практически невозможно.

На наш взгляд, подобное разграничение должно учитывать такое кардинальное свойство языковых уровней, как существование их единиц в двух вариантах – абстрактно-языковом, иначе эмическом (ср. фонемы, морфемы), и конкретно-речевом, иначе этиче-

ском (ср. фонны, морфы). Рассматриваемый в этом плане синтаксический уровень предстает, с одной стороны, как набор предложений, т.е. семантико-функциональных (не структурных!) моделей, взятых безотносительно к способам их формальной репрезентации, а с другой – как инвентарь высказываний – их речевых реализаций, т.е. все тех же моделей предложения, обросших языковой плотью: получивших определенное выражение и поставленных в прямую связь с целями и задачами соответствующего им речевого акта.

Такое понимание проблемы ставит перед исследователем ряд требований, с которыми он должен считаться в процессе научного анализа синтаксического уровня. Наиболее важны из них два. Во-первых, необходимо вести отдельную систематизацию предложений и высказываний (как это делается, скажем, применительно к фонемам и фонемам на фонетическом уровне), ни в коем случае не смешивая их терминологически в процессе описания. В этом плане нельзя, в частности, говорить о неполных предложениях. Еще А.М. Пешковский в начале прошлого века заметил, что называть неполным предложением жалкий остаток предложения (например: *Идет, Без сахара* и т.д.) – это все равно что именовать ручку от разбитого кувшина неполным кувшином, а козырек от фуражки – неполной фуражкой. И это действительно так. Ни в одном языке мира нет и не может быть неполных предложений. Есть только их неполные реализации – высказывания, в конкретном речевом акте отсылающие нас к строго определенному предложению. Во-вторых, при диахроническом изучении синтаксического уровня необходимо считаться с тем, что изменение инвентаря предложений в том или ином языке (в нашем случае русском) осуществляется через высказывания. Например, возникшие довольно поздно безлично-инфинитивные предложения (типа «Мне некуда пойти», «Мне есть куда пойти» и т.д.) сформировались на базе сложных высказываний с придаточным инфинитивным (типа *Мне не е, куда пойти, *Мне е, куда пойти). Сейчас это вполне самостоятельная разновидность односоставных предложений.

Но более или менее ясно, что список упомянутых требований к синтаксическому анализу (как и сопутствующих им запретов) да-

леко не конечен. В полном объеме он выяснится в процессе коррелированного изучения предложений и высказываний. Однако это, понятно, дело будущего. Сейчас же следует воздерживаться от явной некорректности толкований, обусловленных смешением категорий предложения и высказывания. Некорректно, например, выражение «актуальное членение предложения»: по данному признаку членится не предложение, а высказывание. Нецелесообразно упоминать о смысловых отношениях применительно к предложению: в последнем работает языковая семантика, т.е. освоенные и присвоенные языком схемы смысла, сам же смысл возникает в результате соединения и взаимодействия информации о предложении и информации о внеязыковой действительности, т.е. в рамках высказывания.

ЯЗЫКОВАЯ ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

(Впервые опубликовано: «Язык и история». –
Глазов, 2005. – С. 116–124.)

По количеству предлагаемых исследователями интерпретаций безлично-инфинитивные предложения (*Ему не у кого там остановиться; Нам было о чем рассказать* и т.д.) не имеют себе равных среди других разрядов односоставных структур. В разное время их относили к односоставным безличным и односоставным инфинитивным, к несогласованным двусоставным и особому промежуточному типу между безличными и инфинитивными предложениями (откуда, собственно, и пошел традиционный термин «безлично-инфинитивные предложения»). Положение в значительной степени осложняется еще и тем, что сплошь и рядом утвердительный и отрицательный варианты этих предложений (ср.: *Ему есть о чем сказать*, с одной стороны, и *Ему не о чем сказать* – с другой)

разводятся как принципиально нетождественные явления по разным классификационным подразделениям.

Этот совершенно необычный плюрализм мнений в какой-то мере объясняется тем, что в составе интересующих нас предложений для экспликации существующих/несуществующих реалий русский язык последовательно и систематично использует косвенные номинации, квалифицирующие эти реалии не путем отсылки к тому или иному частеречному признаку (как это наблюдается в основной массе односоставных предложений), а путем указания на выполняемую ими функцию. Поскольку используемые номинации дают лишь косвенную характеристику бытующей/небытующей реалии, часть информации о ней остается «утаенной», как, впрочем, и вообще в структурах с косвенным вопросом: *Я знаю, кто пришел; Он помнит, куда они тогда ездили*. Но слушатель не испытывает в этой связи интеллектуального дискомфорта. И лишь иногда говорящий из боязни быть не вполне понятным считает необходимым восстановить «утаенную» информацию за счет прямой номинации. В этом случае возникают в общем-то редкие структуры, подобные той, с которой мы сталкиваемся в стихотворении Н. Заболоцкого «Городок»: *Есть кому в Тарусе плакать – девочке Марусе* (ср. также разговорные высказывания: *Мне было с кем поговорить – с фельдшером и учителем; У нее всегда есть куда пойти – в церковь*).

Тем не менее косвенная номинация, как бы ни была она специфична, не определяет всех основных специфических особенностей безличных инфинитивных предложений и, следовательно, не является главнейшей причиной разногласий в трактовке статуса этих предложений. Эту причину следует искать в противоречивости исследовательских представлений о соотношении синхронии и диахронии при интерпретации синтаксических (хотя и не только синтаксических) единиц.

Хорошо известно, что методическое разграничение двух аспектов лингвистического описания (называемых синхроническим и диахроническим) само по себе было вполне корректным шагом, без которого невозможно было бы изучение языка как системы. Не менее известно также, что это разграничение было проведено

с излишней категоричностью, отлившейся в афористичный тезис Ф. де Соссюра: «Противопоставление синхронии и диахронии абсолютно и не терпит компромисса». К настоящему времени, когда стала очевидной истина, что язык существует в каждый данный момент и тем самым исторически, эта категоричность в общем-то лингвистической наукой преодолена, но только на чисто теоретическом уровне. Что же касается практики языковедческих исследований, она продолжает жить по старым канонам, в связи с чем соответствующие лингвистические штудии остаются девственно «чистыми»: они являются либо только синхроническими, либо только диахроническими. И за этим противостоянием синхронии и диахронии при описании одного и того же явления маячит невысказанная мысль, что данное явление занимало и занимает разное место среди прошлых и настоящих системных языковых отношений и пытаться установить соответствия в этом плане между двумя разными временными состояниями – значит попусту терять время. Между тем, как предупреждают теоретики системного подхода, в процессе своего развития научное познание с необходимостью вступает в такой период, когда последовательное и бескомпромиссное размежевание синхронии и диахронии становится тормозом научного прогресса – хотя бы уже потому, что незнание прошлого автоматически ведет к неполноте знаний о настоящем. Представляется, что такой период для лингвистики уже наступил, и изучение диахронии оправдывается не только желанием знать, как обстояло дело ранее на том или другом участке языковой онтологии, но и стремлением осмыслить то, что есть, на основе того, что было.

Вообще говоря, такое представление о соотношении синхронии и диахронии в научном описании не ново: оно сложилось уже давно. Однако на практике его игнорируют снова и снова, что, понятно, не может не привести к некорректным выводам и заключениям. Именно так обстоит дело с безлично-инфинитивными предложениями, некогда представлявшими собой сложные конструкции (роль придаточного в них выполняли инфинитивные предложения с относительными словами), но позднее переосмысленными языковым сознанием как синтаксически простые предло-

жения. Столь радикальная их трансформация явилась естественным следствием исторических изменений в отношениях и связях составляющих их структуры. Исходным пунктом этих изменений стали конструкции с отрицанием, в составе которых глагол *быть*, имевший в 3 лице единственного числа вариантную (скорее всего диалектную) форму *e*, утратив начальный *j*, ассимилировался с конечным гласным предшествующей ему частицы *не*, а частица и оказавшиеся в непосредственном соседстве с нею относительные слова, в свою очередь, слились в одно целое, породив лексические образования (и сочетания слов), традиционно трактуемые как отрицательные местоимения (наречия): *ничего, некому, негде, некуда, не о чем, не с кем* и т.д.

В новых условиях, когда границы между главной и придаточной частями оказались размытыми, и произошло переосмысление отрицательных сложных предложений в простые: *Мне не e, куда пойти – Мне некуда пойти; Ему не e, кому сказать об этом – Ему некому сказать об этом*. Позднее такого же рода переосмысление было по аналогии распространено на конструкции, в которых глагол *быть* употреблялся в прошедшем и будущем временах и, следовательно, не мог ассимилироваться с частицей *не* (но зато сама частица образовала единый блок с местоименными словами): *Мне не было, куда пойти – Мне было некуда пойти; Мне не было, кому сказать об этом – Мне было некому сказать об этом*. И, наконец, в последнюю очередь были переосмыслены по-новому основания конструкции без отрицания, в которых диалектная форма *e* заменилась общерусской формой *есть*: *Мне есть, куда пойти – Мне есть куда пойти; Мне есть, кому сказать об этом – Мне есть кому сказать об этом*. Этот заключительный этап указанного процесса – явление, видимо, довольно позднее. Во всяком случае даже в начале XX столетия теоретикам-лингвистам приходилось протестовать против постановки здесь запятой перед относительными местоимениями (наречиями) именно на том основании, что соответствующие предложения являются не сложными, а простыми. Правда в указанной позиции ошибочно ставят запятую и сейчас, но этот факт объясняется автоматизмом привычки предвдвять запятой относительные слова *куда, где, когда* и т.д.

В результате процесса опрощения в безлично-инфинитивных предложениях утвердился новый способ оформления пропозиции, именуемой бытующие/небытующие реалии. Она стала передаваться не придаточным инфинитивным, а всего лишь непредикативным сочетанием слов, содержащим намек на свой первоисточник, но уже не обладающим соответственным механизмом референции. Тем не менее эта «смена вывески» не повлияла существенно на семантико-функциональную схему, определяющую специфику безлично-инфинитивных предложений. Они по-прежнему констатируют существование/несуществование реалий, о которых известно только лишь то, что те выполняют функцию того или иного участника событий в ситуации, которая разъясняется при их посредстве.

Потребность изучения языковой истории возникает и при анализе других односоставных предложений, интерпретация которых опять-таки сопряжена с ошибочными заключениями, правда частного характера. Так, например, говоря об инфинитивных предложениях, безапелляционно утверждают, что инфинитив в них является независимым. Между тем дело обстоит в действительности совсем не так. Первоначально в составе этих предложений, насколько можно судить по памятникам письменности, инфинитив непосредственно вводился в предложение глаголом *быть*, по общему обыкновению употреблявшемуся в трех временных формах, из которых форма настоящего времени – опять-таки по общему обыкновению – не получала специального лексического выражения, т.е. была нулевой. Позднее, однако, наметилась тенденция к разрушению системы грамматических противопоставлений по времени, выразившаяся в постепенной утрате форм прошедшего и будущего времени. В современном русском языке этот процесс ещё не завершился. Поэтому даже сейчас в устно-разговорной (и, естественно, в художественно-публицистической) речи можно столкнуться с высказываниями, в которых глагол *быть* употребляется в форме 3 лица единственного числа прошедшего (изредка будущего) времени. Но это, конечно, всего лишь реликты старой нормы, а не действующая норма. Указанное явление отмечается преимущественно в высказываниях, реализующих вариант-

ное значение невозможности, которое, по наблюдениям исследователей, развилось сравнительно поздно и, может быть, поэтому не усвоило общий принцип: *Нет, промтоварные склады было не отстоять* (В. Распутин); *В раскопе было не повернуться* (А. Приставкин); – *Тогда фотографию оставьте, без неё людей будет не опознать* (А. Рыбаков). Изредка, впрочем, форма прошедшего времени допускается в условиях реализации других модальных значений инфинитивного предложения, например, долженствования: *Завтра Башилову было уезжать* (В. Маканин); *Илья посмеялся – твой багаж не нести было. Сам (пес) на своих четверых дошел* (К. Федин).

Почему именно распалась система временных противопоставлений на этом участке синтаксической системы русского языка, не вполне ясно. Но нас в данном случае должны интересовать не причины, а следствия данного процесса, оказавшиеся далеко не тривиальными. Важнейшее из этих следствий заключается в том, что инфинитивные предложения после утраты прошедшего и будущего времени глагола *быть* приняли вид бессвязочных структур, поскольку наличие в них лексически не выраженной (нулевой) формы настоящего времени перестало выявляться на основе системной соотнесенности форм (по образцу других односоставных предложений: *Зима. – Была зима. – Будет зима; Холодно. – Было холодно. – Будет холодно*). Соответственно инфинитив стал восприниматься здесь как независимый. Такое его понимание представлялось вполне естественным, поскольку процесс распада временных отношений сказался и на высказываниях гипотетического плана, в составе которых сослагательное наклонение (видимо, по аналогии с изъявительным!) утратило *л*-форму глагола *быть*, в результате чего частица *бы* оказалась осмысленной как относящаяся к инфинитиву. Но такой вывод явно поспешен, о чем свидетельствуют пусть редкие, но все-таки возможные случаи «восстановления» в гипотетических высказываниях *л*-формы: *Было б и мне побольше украсть* (А. Чехов).

И, наконец, в некоторых случаях опора на диахронию в синхроническом описании позволяет не преодолеть ошибочные за-

ключения по поводу тех или иных синтаксических единиц, а дать ответы на вопросы, которые способны исследователя-синхрониста поставить просто в тупик. Спросим, скажем, себя: «Почему формально односоставное определённо-личное предложение в сфере настоящего и будущего времени изъявительного наклонения является всего лишь стилистическим вариантом двусоставного предложения, в котором подлежащее выражено местоимениями *я (мы)* или *ты (вы)*, а в сфере повелительного наклонения предстает как основная (нормативная) форма, допускающая при императиве использование личного местоимения 2 лица единственного и множественного числа лишь в порядке исключения (ср. *Куда ты идешь?* – *Куда идешь?* и *Принеси книги.* – *Ты, Коля, принеси книги, а ты, Маша, карты?*)?» Исторически ориентированный анализ разъясняет этот факт с достаточной основательностью. В древнерусском языке старшего периода невыраженность подлежащего местоимениями 1 и 2 лица была нормой, поскольку все без исключения личные глаголы несли дублирующую информацию о персональном и количественном характере подлежащего. Положение дел, однако, существенно изменилось, когда перфект, вытеснивший все другие прошедшие времена, утратил связку, а аорист в составе сослагательного наклонения трансформировался в бесформенную частицу *бы*. Именно тогда и появились личные глаголы без согласовательной категории лица (ср. глаголы прошедшего времени изъявительного наклонения типа *читал, говорил* и глаголы сослагательного наклонения типа *читал бы, говорил бы*, которые могут быть отнесены ко всем трем лицам). На этот факт русский язык отреагировал переходом эксплицитной номинации предмета – подлежащего, в позиции которого стали употребляться местоимениями *я (мы)* и *ты (вы)*. Но соответствующий процесс протекал в конкретных высказываниях по-разному, обнаруживая прямую зависимость от используемой формы глагола.

Во всех без исключения высказываниях с глаголами сослагательного наклонения местоимения *я (мы)* и *ты (вы)* приобрели строго обязательный характер: *Я бы поговорил с ним; Вы бы пого-*

ворили с ним и т.д. Нормой стало их употребление и в высказываниях с глаголом прошедшего времени изъявительного наклонения: *Я читал это; Вы сказали ему об этом?* и т.д. Наоборот, в настоящем и будущем временах изъявительного наклонения согласовательные категории лица и числа сохранились и соответственно сохранилась возможность имплицитной номинации предмета-подлежащего, правда преимущественно в сфере устно-разговорной речи. И, стало быть, русский язык на рассматриваемом участке синтаксической системы усвоил два стилистических варианта: литературный: *Я иду в театр; Куда ты идешь?* и разговорный: *Иду в театр; Куда идешь?* Что же касается высказываний с глаголами повелительного наклонения, относящими обозначаемое действие ко 2 лицу единственного и множественного числа, здесь русский язык в основном следует старой норме, т.е. оставляет позицию предмета-подлежащего лексически незамещенной: *Принеси книгу; Помолчите!* Сравнительно редкое использование местоимений 2 лица допускается лишь в особых условиях: когда, например, требуется придать высказыванию категорический характер: *А ты поговори с ним* или распределить обязанности между лицами, которым адресовано побуждение: *Ты, Маша, помой посуду, а ты, Коля, сходи за хлебом.* Таким образом, и здесь оказываются возможными два варианта, но различия между ними являются не стилистическими, а смысловыми.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что пора отдельного, никак не скоррелированного описания современного состояния синтаксических единиц (пусть даже не всех, а лишь некоторых из них) и их исторических судеб уже миновала. И это связано с тем, что научная истина в синхроническом описании в целом ряде случаев может быть установлена лишь при условии пристального внимания к тому, как та или иная синтаксическая единица исторически развивалась.

РУСИСТИКА СЕГОДНЯ

(Впервые опубликовано: «Русский язык в современном мире: материалы междунар. науч. конф.»: в 2 ч. – Воронеж, 2007. – Ч. 1. – С. 16–18.)

Всякий раз, когда говорят о положении и функционировании русского языка в современных условиях, обыкновенно имеют в виду то, как он «чувствует себя» в ситуации, сложившейся после распада Советского Союза, – хорошо или плохо. Я не буду касаться этой проблемы (хотя и замечу мимоходом, что однозначные решения её вряд ли приемлемы). Для меня в данном случае важно состояние и особенности сегодняшнего развития науки о русском языке, т. е. вопрос, который по ряду причин не привлекает (или почти не привлекает) к себе внимания.

Общеизвестно, что разного рода гипотезы и привлекаемая для их реализации конкретными авторами методика исследования обыкновенно укладываются в рамки соответствующей научной парадигмы, действующей довольно длительное время. История языкознания констатирует, что за время своего существования мировая лингвистика имела дело с тремя основными парадигмами, обнаруживающими прямую и непосредственную связь с общенаучными представлениями, заявляющими о себе и за пределами лингвистики (например, философии, биологии, физики и т.д.).

Первой такой парадигмой для нашей науки была элементарно-таксономическая парадигма, возникшая вместе со становлением лингвистики как науки и просуществовавшая до конца XIX в. Она принесла с собой представления об уровневой организации языка и видела свою задачу в выявлении и классификации основных единиц фонетического, лексического, морфологического и отчасти синтаксического уровней. Её главным методом стал широко распространённый в ту пору в самых различных сферах научного знания (например, биологии, химии и т.д.) метод сравнения, впервые продемонстрировавший, что лингвистика не свободна от тенденций, действующих в соседних областях науки. Долгое время этот метод носил синхронный характер, и лишь в первой четверти XIX столетия, когда умами европейцев уже овладела идея

всеобщего развития, сравнение в лингвистике было поставлено на историческую основу, что и привело к возникновению сравнительно-исторического языкознания – компаративистики, обеспечившего реализацию главной установки элементарно-таксономической парадигмы – исчисление и первичную классификацию основных уровней единиц языка.

Вторая, системно-структурная парадигма, которую справедливо связывают с именем знаменитого швейцарца Ф. де Соссюра, основывалась на допущении, что элементы языка могут быть квалифицированы с достаточной полнотой и необходимой строгостью в том и только в том случае, если они будут рассматриваться как составные части более широкого универсума, представляющего собой некую систему и определяющего наиболее существенные (приобретённые в системе) свойства каждого отдельно взятого элемента. Этот взгляд на вещи означал перенос центра тяжести в лингвистическом исследовании на языковую имманентность, что потребовало жёсткого отграничения языка от всякого рода смежных феноменов и последовательной реализации принципов методической дифференциации таких явлений, как язык и речь, синхрония и диахрония, парадигматика и синтагматика. В общем итоге приобретения системно-структурной парадигмы были весьма ощутимыми (ср. хотя бы разработку принципов фонологического описания звуковых подсистем), однако они были не свободными от разночтений в пределах научных направлений структурального характера, различавшихся не только конкретными исследовательскими целями, но и привлечёнными приёмами описания языка и просуществовавшими в общей сложности около полувека.

Становление третьей, номинативно-прагматической парадигмы началось на рубеже 50-60-х годов XX века в сфере лексикологии, словообразования и морфологии (прежде всего аспектологии, которая с давних пор является своеобразным полигоном для испытания всякого рода идей и методик). Позднее (примерно через десятилетие) она распространила своё влияние и на синтаксис, в рамках которого две предшествующие парадигмы оказались недостаточно результативными. В основание новой парадигмы, возникшей с теми научными представлениями, которые стали скла-

дываться (в рамках философии, психологии, биологии и т.д.) и знаменовали собой крушение старых изоляционистских взглядов, трактовавших человека как замкнутое в себе самодостаточное существо, легли три теории – теория номинации, теория референции и теория речевых актов. Именно эти теории дали толчок развитию идеи, в соответствии с которой билатеральные языковые элементы (прежде всего предложения) предстают как феномены, которые, с одной стороны, именуют те или иные коммуникативно значимые фрагменты действительности (номинативный аспект), а с другой – обеспечивают коммуникативное сотрудничество говорящего и слушающего за счёт сообщаемых первым сведений о своих оценках и речевых установках (прагматический аспект). Номинативно-прагматическая парадигма сблизила язык с другими средствами передачи информации, например с искусством и литературой, упрочила связи лингвистики с когнитологией как наукой о способах получения, переработки, хранения и передачи информации, умножила количество точек соприкосновения между языковедением и философской наукой о понимании – герменевтикой. Всё это – линии очень высокого напряжения, способные питать десятки разнообразных объяснительных моделей, раскрывающих такие закономерности языковых единиц, которые замкнутый в себе лингвистический анализ просто не видит (как не видит из своего окопа солдат общей панорамы военной операции, в которой он участвует).

И тем не менее, несмотря на продуктивность, на рубеже XX–XXI столетий номинативно-прагматическая парадигма начинает уступать свои позиции парадигме, которая в наши дни является господствующей. Эту парадигму можно назвать антропологической, поскольку своим происхождением и характером она обязана тому антропологическому буму, который стал разворачиваться буквально на глазах – сначала в области философии, а потом заявил о себе в психологии, социобиологии, литературоведения и т.д. Специфика лингвистической антропологии определяется тем, что она сосредоточивает основное внимание на напряженном языковом диалоге человека с подобными себе, самим собой, созданной им культурой и т.д. При этом они стремятся выяснить, какие именно

языковые средства обеспечивают необходимый коммуникативный эффект, как средства подстраховывают друг друга, выполняя при этом какие-то смежные функции. Сейчас антропологическая парадигма безраздельно господствует если не в мировом языкознании, то в его западной ветви. Но особенно заметно её влияние в русистике, где смена парадигм по времени совпала с политическими потрясениями, приведшими к распаду Советского Союза, и приобрела по необходимости социально-политическую окраску.

При оценке этой парадигмы (а такая оценка, как мы убедились ниже, часто бывает негативной) необходимо иметь в виду, что каждая из рассмотренных парадигм обладает определёнными недостатками. Так, элементарно-таксономической парадигме свойствен атомизм, игнорирующий системные связи языковых единиц; системно-структурная парадигма не учитывает стойких связей языковых феноменов с человеком говорящим: такой недостаток есть и у становящейся (или ставшей?) антропологической парадигмы. Она на первый взгляд может показаться вариантом номинативно-прагматической парадигмы, у которой редуцирован номинативный аспект. Это, конечно, не так: перед нами вполне самостоятельная парадигма. Тем не менее она, конечно же, не связывает себя изучением номинативных свойств и – волей-неволей – грамматические факты сами по себе оказываются вне поля её зрения. Но при изучении языка такая редукция просто недопустима. Поэтому можно ожидать, что антропологическая парадигма в ближайшее время будет либо как-то дополнена, либо заменена другой парадигмой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫСКАЗЫВАНИИ

(Впервые опубликовано: «Теоретические принципы современного языкознания». – Воронеж, 2009. – С. 304–308.)

Разговор о высказывании в предлагаемой статье с необходимостью придется предварить чем-то вроде пространного предисловия, относящегося, однако, не к собственно высказыванию, а

к грамматике в целом. Такое решение может быть воспринято как элементарное нарушение давно уже сложившихся композиционных правил, но в действительности оно является вполне извинительным и даже закономерным, поскольку само понимание высказывания во многом определяется характером понимания нами грамматики.

Обратим прежде всего внимание на то, как буквально на глазах меняется содержание привычного для нас термина «грамматика». По традиции, идущей еще от античной лингвистики, грамматикой было принято называть морфологию и синтаксис. Но уже первая русская (по-настоящему научная) грамматика М.В. Ломоносова (XVIII век!) включила в свой состав и фонетику. Это решение породило критические замечания ряда исследователей, тем не менее сведения о фонетике продолжали включаться в грамматические описания, о чем свидетельствует практика составления русских академических грамматик 1952, 1970 и 1980 гг. Этому обстоятельству в немалой степени содействовали фонологические наработки XX столетия, обнаружившие, что фонетика (точнее – ее ядерная часть – фонология) и грамматика в ее узком понимании изоморфны.

Несколько позднее то же самое произошло со словообразованием. Еще в «Грамматике русского языка» АН СССР 1952 г. все сведения, касающиеся конкретного эмпирического материала по словообразованию, были рассыпаны по отдельным частям речи (существительным, прилагательным, глаголам и т.д.), а теория («Основные способы образования слов и их форм») была включена во Введение, где она выглядела совершенно чужеродным явлением (Грамматика русского языка. Т.1. 1952, с.16-18). Последующие грамматики АН СССР пошли по иному пути. Здесь «Словообразование», предваренное разделом «Морфемика», заняло свое место наряду с морфологией и синтаксисом (Грамматика современного русского литературного языка 1970, с.30-31).

И, наконец, совсем уже недавно в «Краткой русской грамматике» под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина впервые появился специальный раздел «Слово», объединивший в своем составе подразделы «Структура слова», «Словообразование», «Морфология»

и «Подчинительные связи слов в словосочетании» (Краткая русская грамматика 1989, с.4).

Можно, конечно, спорить, насколько правомерно объединение этих подразделов в одно целое (скорее всего оно не будет принято). Но одно стало совершенно ясным: в языке действует очень мощная тенденция, обязывающая нас видеть в грамматике науку о принципах устройства и единицах *всех* языковых уровней без исключения. С учетом этой тенденции общее построение грамматики принимает следующий вид. Она состоит из четырех разделов, соответствующих основным уровням языка – уровням звука, морфа, слова и предложения. С учетом действующих научных традиций эти разделы можно именовать «Фонетикой», «Морфемикой», «Лексикологией» (или «Лексемикой») и «Синтаксисом».

Учтем, далее, что все единицы грамматики в ее широком понимании могут быть и абстрактно-языковыми (то есть инвариантными) и материально-речевыми (то есть вариантными). Так, в фонетике мы различаем фонемы – абстрактные единицы, которые мы произнести не можем, и фоны – конкретные звуки, данные нам в непосредственном восприятии. Соответственно в «Морфемике» различаются морфемы как абстрактные инвариантные сущности и морфы – их материальные варианты. То же самое наблюдается в «Лексикологии» («Лексемике») и «Синтаксисе».

При этом будем иметь в виду, что варианты явления на любом из уровней могут и должны характеризоваться по двум параметрам: с точки зрения материальных свойств и с точки зрения сочетаемости. Эти параметры тесно связаны. Например, фонема [Э] принимает тот или иной материальный облик в зависимости от того, перед каким звуком и после какого звука она реализуется: раствор рта неодинаков в абсолютном начале слова перед твердым, в абсолютном начале слова перед мягким, после твердого перед твердым, после твердого перед мягким, после мягкого перед твердым, после мягкого перед мягким.

И вот если мы примем во внимание эти общеизвестные вещи, у нас появляется возможность по-другому взглянуть на термин «высказывание», заявленный в заголовке настоящей статьи. Этот термин появился уже давно (например, в работах М.М. Бахтина,

относящихся к 1924 году). И хотя с самого начала было ясно, что он противопоставлен термину «предложение», трактовка его оставалась крайне неопределенной, поскольку при анализе его содержания, осуществлявшемся параллельно с анализом содержания предложения, учитывались различные признаки: объем сопоставляемых понятий, характер соответствующих структур, их содержание и функция и т.д., причем выявляемые свойства относились то к высказыванию, то к предложению (Гак 1990, с.90).

Столкнувшись с противоречивостью таких трактовок, И.П. Распопов заметил, что у этого термина большое будущее, но как его употреблять, совершенно неясно, и он зарезервировал его как синоним термина «предложение» (Распопов 1984).

Последующее развитие лингвистики (в частности широкое распространение теории речевых актов) указанные противоречия практически сняло. Сейчас высказывание трактуется как вариантное явление, противопоставленное инвариантному явлению – предложению. Такой подход обращает особое внимание на то, что, во-первых, для высказывания обязательна его включенность в речевой акт, без чего оно существовать вообще не может, и, во-вторых, в высказывании возможно кардинальное преобразование формально-грамматической структуры соответствующего предложения.

Приняв такое толкование высказывания, мы, естественно, оказываемся перед вопросом: какие явления в синтаксисе должны быть отнесены к предложению, а какие – к высказыванию. Некоторые из явлений, обнаруживающие прямую связь с высказыванием, очевидны уже сейчас.

Это, во-первых, неполные и эллиптические предложения, которые вообще нельзя называть предложениями (комментируя структуры типа *Идет, Без сахару* и им подобные, А.М. Пешковский отмечал, что именовать их неполными предложениями – все равно что называть ручку от разбитого кувшина неполным кувшином, а козырек от фуражки – неполной фуражкой).

Во-вторых, актуальное членение получает, конечно же, не предложение, а высказывание: именно высказывание актуально членится на тему и рему, тогда как у предложения есть только синтаксическое членение.

В-третьих, по цели сообщения различаются именно высказывания, а не предложения.

В-четвертых, всякого рода тексты, которые мы анализируем в учебных и научных целях, состоят, понятно, из высказываний.

И, наконец, в-пятых, когда мы говорим о выражении подлежащего, сказуемого или, скажем, какого-то второстепенного члена, мы всякий раз покидаем зону предложения как такового и вступаем в зону высказывания.

Вместе с тем существует целая серия явлений, которые однозначно отнести к предложению или высказыванию крайне трудно, поскольку предложение как абстрактно-языковое (эмпирическое) явление и высказывание как материально-речевое (этическое) явление во многих случаях не могут быть полностью разведены. Покажу это на примерах.

Актуальное членение, как уже говорилось выше, относится к сфере высказывания, но осуществляется оно по **языковым** правилам, остающимся неодинаковыми в разных языках (ср. с этой точки зрения русский и английский). Далее. Чтобы установить, к какому типу предложений относится данное высказывание, нам достаточно установить характер его главных членов (или главного члена – для односоставных предложений). Но изучение закономерностей распространения главных членов, осуществляемое, конечно же, в высказывании, снова возвращает нас к языку, то есть в конечном счете к предложению, поскольку эти закономерности опять-таки являются языковыми.

Особенно внимательными нам приходится быть при анализе синтаксических явлений, рассматриваемых в историческом аспекте. Любые изменения статуса языковых единиц, понятно, начинаются в высказывании, где они подвергаются определенным переосмыслениям. Но с необходимостью наступает тот момент, когда индивидуальные, ненормативные переосмысления становятся общепринятыми и приобретают языковой характер. Вот пример. Сейчас более или менее ясно, что русские безлично-инфинитивные (в иной терминологии – функтивные) высказывания типа *Ему некуда пойти*, *Нам незачем туда ехать* возникли на базе сложных высказываний **Ему не е, куда пойти*, **Нам не е, зачем туда ехать*.

Это произошло в результате своеобразного сращения частицы *не*, глагола 3 лица ед. числа *е* (утратившего начальный *ј*) и последующего местоимения (или местоименного наречия).

Следы этого процесса просматриваются достаточно хорошо: в словах *некуда*, *незачем*, *нечем* и им подобных в исторических памятниках последовательно употребляется *h*, возникший в результате «удлинения» [Е] в составе частицы *не* за счет последующего глагола *е* (хотя сама частица *не* этого звука не имела и в ней столь же последовательно писался гласный [Е]). Но сами высказывания с расчлененным употреблением частицы *не*, глагола *е* и последующего местоимения (местоименного наречия) в древнерусских памятниках не зафиксированы. И, стало быть, нам не остается ничего иного, как констатировать, что в письменный период мы имеем дело с уже сложившимися простыми безлично-инфинитивными предложениями.

Число подобных примеров можно было бы умножить. Но в этом нет необходимости: ситуация ясна и без того. Постепенное распространение представления, позволяющего видеть в высказывании единицу, равновеликую предложению (с точки зрения его составленности из одних и тех же функционально-семантических элементов, отдельные из которых могут остаться в высказывании невербализованными) и в то же время информативно обогащенную (по сравнению с предложением) за счет тех сведений, которые поступают от контекста, ситуации, фоновых знаний коммуникантов и т.д., существенно меняет наши знания о грамматике в целом и о синтаксисе в частности. Но оно же оставляет границы между предложением и высказыванием в ряде случаев размытыми. И, стало быть, нам нужны еще годы и годы размышлений, чтобы возникающие сейчас неясности развеялись как туман.

Литература

1. Гак В.Г. Высказывание / В.Г. Гак // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 90.
2. Грамматика русского языка. Т. 1. Фонетика и морфология. М. : АН СССР, 1952. – С. 16–18.

3. Грамматика современного русского литературного языка. – М. : Наука, 1970. – С. 30–31.

4. Краткая русская грамматика / [под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина]. – М., 1989. – С. 4.

5. Распопов И.П. Основы русской грамматики / И.П. Распопов, А.М. Ломов. – Воронеж, 1984.

6. Русская грамматика. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. – М. : Наука, 1980. – С. 123–452.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ И ЕГО ИНОТЕКСТОВЫЕ АКТУАЛИЗАТОРЫ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(Впервые опубликовано: «Мир русского слова». – Санкт-Петербург, 2010. – N 4. – С. 6–12.)

В статье рассматривается один из частных случаев актуализации высказывания посредством показателей, заключенных не в тот текст, в котором употреблено данное высказывание, а в содержательно сопряженные с последним тексты. Выдвигаемые теоретические положения иллюстрируются на примере выдающегося памятника русской словесности «Слова о полку Игореве».

Термин «высказывание» появился в языкознании относительно поздно – во всяком случае позднее термина «предложение». С самого начала он оброс целой серией значений, которые, по логике замысла, должны были отграничить высказывание от предложения. Поскольку, однако, такое отграничение осуществлялось по разным основаниям, возникавшие трактовки высказывания оказывались или несопоставимыми, или – что еще хуже – прямо противоположными. Но уже в 90-е годы XX века в связи с широким распространением в лингвистике теории речевых актов наметилась тенденция к содержательной унификации понятия высказывания.

Эта тенденция учитывает два существенно важных момента: во-первых, обязательную включенность высказывания в конкретную речевую ситуацию (речевой акт), без чего оно как таковое не существует, и, во-вторых, возможность кардинального преобразования типовой структуры, свойственной предложению, в процессе этого включения. Из этого взгляда на вещи с необходимостью вытекает, что *предложение* и *высказывание* – феномены, безусловно, разные, но имеют вместе с тем общее ядро и их размежевание без установления характера данного ядра практически невозможно. Подобное разграничение должно считаться с таким кардинальным свойством языковых уровней, как существование их единиц в двух вариантах – абстрактно-языковом, иначе эмическом (ср.: фонемы, морфемы), и конкретно-речевом, иначе этическом (ср.: фоны, морфы). Рассматриваемый в этом плане синтаксический уровень предстает, с одной стороны, как набор предложений, т. е. семантико-функциональных моделей, а с другой – как инвентарь высказываний – их речевых реализаций, т. е. все тех же моделей предложения, обросших языковой плотью: получивших определенное выражение и поставленных в прямую связь с целями и задачами соответствующего им речевого акта.

Такое понимание проблемы ставит перед исследователем ряд требований, с которыми он должен считаться в процессе научного анализа синтаксиса. Наиболее важны из них два.

Во-первых, необходимо вести отдельную систематизацию предложений и высказываний, ни в коем случае не смешивая их терминологически в процессе описания. В этом плане нельзя, в частности, говорить о неполных предложениях. Еще А.М. Пешковский в начале прошлого века заметил, что называть неполным предложением жалкий его остаток (например: *Идет, Без сахара* и т. д.) – это всё равно что именовать ручку от разбитого кувшина неполным кувшином, а козырек от фуражки – неполной фуражкой. И это действительно так. Ни в одном языке мира нет и не может быть неполных предложений. Есть только их неполные реализации – высказывания, в конкретном речевом акте, отсылающие нас к строго определенному предложению. Некорректно, далее, упоминать о смысловых отношениях применительно к предложению:

в последнем «работает» языковая семантика, т. е. освоение и присвоение языком схемы смысла, сам же смысл возникает в результате соединения и взаимодействия информации о предложении и информации о внеязыковой действительности, т. е. в рамках высказывания.

Во-вторых, необходимо изучить и систематизировать, как актуализируется смысл высказывания в связной речи. Инвентарь такой актуализации весьма обширен. В настоящей статье будет идти речь об одном уникальном приеме инотекстовой актуализации, которую я проиллюстрирую на примере «Слова о полку Игореве» – произведении, являющемся начальным звеном русской художественной литературы.

Читатели «Слова», конечно, давно уже заметили, сколь бедна в нем фактическая информация. В самом деле, что мы знаем, скажем, о походе Игоря. Очень мало. Легче перечислить, чего мы не знаем. Нам неизвестно, когда начался поход, где находится Каяла, куда увезли половцы плененного Игоря, через какое время он убежал из плена и т. д. А если мы припомним битву при Немиге, которую автор сравнивает с молотьбой на току, то обнаружится, что нам не сообщили даже, с кем вступил в кровавый спор полоцкий князь Всеслав и чем этот спор кончился. Более того, иногда отдельные герои произведения высказывают буквально как чертики из табакерки (скажем, Гзак и Кончак): мы не знаем о них ровно ничего, хотя автор ведет рассказ так, будто они давние наши знакомцы. Но информативная скудость «Слова» – факт лишь кажущийся: он представляет собой закономерное следствие особого художественного приема, использовавшегося в памятнике.

В «Слове о полку Игореве» все герои – реальные исторические лица, упоминания о которых легко найти в русских летописях (за исключением, может быть, Бояна). Точно так же реальны описываемые события, отраженные в тех же самых летописях (и опять-таки, за отдельными исключениями, о которых уже говорилось выше). И поскольку это так, автор получает возможность использовать уже упомянутый прием, для которого нет общепринятого названия. В лингвистике, правда, часто говорят о непрямой

коммуникации, имплицитной информации, скрытых (неявных) смыслах и т. д. Но эти термины в нашем случае неприемлемы, поскольку они ориентированы на обозначение тех содержательных элементов, которые присутствуют в данном конкретном тексте, но выявлены нестандартными способами. В «Слове о полку Игореве» соответствующие элементы вообще отсутствуют и привносятся извне. Прием их обозначения я буду называть (конечно же, с известной долей условности) приемом ассоциативного ввода внетекстовой информации. Он действует в соответствии с формулой «повод-намёк»: текст отталкивается от упомянутого факта и лишь вскользь называет другой факт, содержание которого раскрывается не путем обычного текстового описания, а путем извлечения соответствующих знаний из недр памяти читателя, хорошо знакомого с русскими летописями и другими историческими источниками.

Необходимо учитывать, что текстовые намеки, нуждающиеся во внетекстовой актуализации, по своему характеру неоднородны. Одни из них прямо и непосредственно отсылают нас к соответствующим местам летописей, без чего соответствующий кусок «Слова» остается просто непонятным.

Так, знания летописных сведений требует то место памятника, где говорится о том, что готские девы воспевают поражение Игоря и лелеют мечь Шароканю. Если эту фразу не понять, в нашем восприятии «Слова» возникнет невосполнимая лакуна.

Как известно из летописей, первые полвека пребывания половцев в южнорусских степях борьба русских людей с кочевниками носила оборонительный характер, поскольку половцы находились на первой (таборной) стадии кочевания. Они действовали набегами и каждое очередное поражение от русских (если оно случилось) переносили очень легко, поскольку их родные коши находились в глубине степей, и половцы при необходимости уходили ещё дальше, зажигая после себя степь, чем делали преследование просто невозможным: кормить лошадей было нечем. А вот поредевшему после очередного набега русскому населению всякий раз приходилось начинать с нуля: рубить новые избы, строить хозяйственные помещения, восстанавливать значительно сократившееся поголовье скота. Но в самом конце XI – начале XII в. поло-

жение существенным образом изменилось. Половцы перешли ко второй стадии кочевания, которая предполагает, по наблюдениям С.А. Плетневой, ограничение территории кочевания для каждой орды и, соответственно, появление сезонных стойбищ – зимовок и летовок, что и сделало кочевников уязвимыми для ударов русских. Учитывая это, Владимир Мономах, еще не ставший великим князем, решил положить конец вражеским набегам и превратить оборонительную войну с половцами в наступательную. Ему удалось сплотить удельных князей и организовать несколько общерусских походов на половцев. Уже первый поход, направленный на далекое Лукоморье, оказался весьма результативным. Становища лукоморских половцев подверглись разгрому, а их предводитель хан Алтунопа был убит. Но поражение, как ни странно, лишь подстегнуло половцев. Довольно быстро произошло объединение их донских и днепровских сил, и они совершили два серьезных похода на Русь, которые закончились разгромом половцев. Но спокойствия Руси это не принесло. Поэтому на Долобском съезде удельных князей по инициативе Владимира Мономаха было принято решение организовать рейд русских войск в глубину степей, где кочевали донские половцы – главные противники русского государства. Скрытно проникшие в половецкие кочевья весной 1111 года русские военные силы застали половцев врасплох, а спастись бегством те по своему обыкновению просто не могли: их кони, добывавшие копытами корм из-под снега, к весне сильно отощали и не могли состязаться в резвости с русскими конями, хорошо отъевшимися за зиму на кормах, впрок заготовлявшимися нашими земледельцами в летне-осенний период. В общем итоге огромное половецкое войско было разгромлено на собственной земле, все основные зимовки кочевников уничтожены, хан Боняк был убит, а хан Шарукан едва убежал. Последующие походы Мономаха и его сына Мстислава поставили половцев на грань уничтожения, и сын *Шарукана* Отрок с частью половцев откочевал в предгорья Кавказа, где поступил на службу к грузинскому царю Давиду, а его брат Сырчан вместе с оставшимися половцами затаился в глубине степей и до самой смерти Мстислава не предпринимал попыток напасть на русские земли.

Таким образом, одной лишь фразой *лелють* месть Шароканю автор актуализовал в сознании читателей важнейшую страницу истории их страны и тем самым подчеркнул, что, во-первых, успех в борьбе с половцами обеспечивают лишь совместные действия князей и, во-вторых, все усиливающиеся междоусобицы в конце концов могут привести русских к такому же тотальному поражению, которое половцы потерпели при Шарукане.

Наряду с вышерассмотренным существуют намеки другого рода, как будто вполне удовлетворяющиеся весьма краткими пояснениями исторического характера. Но в действительности это совсем не так. Вот яркий пример. Князь Игорь, благодаря Донец за помощь, противопоставляет ему реку Стугну. Эта маленькая река (имеющая, как выражается автор, *худую струю*) весной во время паводка вобрала в себя воду других рек и ручьев, расширилась к устью и *затворила* на дне князя Ростислава (т. е. Ростислав в ней утонул). И вот теперь на темном берегу мать оплакивает безвременно погибшего юношу. Памятник не сообщает нам, что это за князь, почему он утонул, какие события предшествуют этому печальному факту. Комментаторы обыкновенно сообщают, что Ростислав – единокровный (т. е. от другой матери) брат Владимира Мономаха, утонувший в реке во время боя с половцами. Мономах пытался его спасти, но, едва не расставшись с жизнью, ничего не мог сделать. Этот комментарий многое проясняет, но оставляет совершенно неясным одно: какое отношение имеет смерть Ростислава к побегу Игоря. Между тем за рассматриваемым намеком скрывается богатейшая конкретная информация, которую летописи и другие исторические источники сообщают нам под 1093 год. Именно она и расставляет все по своим местам.

В указанное время после смерти великого князя Всеволода Ярославича, киевский стол занял по праву старшинства Святополк Изяславич, двоюродный брат Владимира Мономаха. Воспользовавшись неразберихой, которая обыкновенно сопутствует смене власти, половцы пришли на Русь с требованием откупа, угрожая в противном случае разорением пограничных земель. Владимир Мономах советовал Святополку согласиться с их требованиями, но

недалёкий Святополк этому совету не последовал, решив вступить с половцами в сражение.

Мономаху как вассальному князю, правившему тогда в Переяславле, ничего не оставалось делать, как подчиниться, хотя общая обстановка для русских была крайне невыгодной. Времени для сбора общерусских войск не было, к тому же половцы заняли тактически выгодное положение, и русским, чтобы напасть на врага в условиях весенней распутицы, надо было переправляться через вздувшуюся реку Стугну, в обычное время маловодную. Результат этого неподготовленного военного мероприятия был печальным: половцы смяли немногочисленные русские полки, и те побежали. Во время обратной переправы многие, естественно, погибли (не забудем о тяжелых воинских доспехах тех времен), и в их числе был брат Владимира Мономаха – Ростислав. Его тело, обнаруженное только через несколько дней, когда половцы уже ушли, перевезли в Киев, где юношу горько оплакивала его мать, половчанка по происхождению, получившая при крещении имя Анна.

На похоронах, видимо, вспоминали обстоятельства гибели покойного, в частности то, как Владимир Мономах едва не утонул, пытаясь спасти брата. Припомнили, конечно, и инцидент, произошедший накануне битвы (он засвидетельствован в историческом источнике). Направляясь к месту сбора войск, Ростислав со своими дружинниками остановился на подворье Печерского монастыря. В это время из своей кельи вышел монах Григорий, направлявшийся к реке за водой, и дружинники по какому-то поводу стали насмехаться над ним. Григорий имел неосторожность сказать, что им следовало бы вести себя посдержаннее: они ведь едут не на гулянье, и у них много возможностей свести счёты с жизнью, в том числе и утонуть в реке. Взбешенный Ростислав (сказалась, видимо, пылкая половецкая кровь) приказал монаха утопить, что и было сделано. Таким образом, весной далекого от нас 1093 года в тугой узел оказались завязанными самые разные события: одно из немногих поражений Владимира Мономаха, горе матери, сын которой, в сущности, погиб от рук ее соплеменников-половцев и святотатство Ростислава, обернувшееся его гибелью в реке (в полном соответствии с предостережением монаха Григория). Страсти,

как видим, шекспировского размаха, но они остаются незримыми, поскольку рассказ о них оказался скрытым между строк – в пределах внетекстовой информации.

Точно так же незримы и две параллели, проводимые автором «Слова». Во-первых, произведение предупреждает, что любое плохо подготовленное военное мероприятие, рассчитанное лишь на слепую удачу, в конечном счете, как и поход Игоря, обернется катастрофой. Во-вторых, оно содержит неявную отсылку к «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия знакомство с которой автора нашего памятника сейчас уже никто не отрицает. Именно там рассказывается, что днем евреи плечом к плечу сражались с римскими легионерами, защищая осажденный храм, а ночью сводили счеты друг с другом. Утром же каждого дня обнаруживались трупы людей, погибших отнюдь не от мечей римлян. А разве не из того же ряда убийство монаха Григория?

Текстовые намеки третьего рода, к рассмотрению которых мы переходим, практически остаются почти незаметными. Читатель просто не видит их, полагая, что стоящая за ними информация самоочевидна. Например, сообщение «Слова», сделанное автором как бы мимоходом, о том, что князь едет в Киев к церкви Богородицы Пирогощей, не наводит нас на особые размышления, так как мы думаем, что он отправился туда поблагодарить Бога за чудесное спасение. Так думал и я, пока на глаза мне не попало одно примечательное место из «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

В своем дневнике герой этого романа пишет, что после жестокого приступа лихорадки, которая для одинокого человека могла кончиться печально, он совершенно переосмыслил библейские слова: «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя». Прежде Робинзон связывал их с избавлением из заключения, поскольку его остров был для него настоящей тюрьмой в худшем смысле этого слова. Теперь же, с омерзением вглядываясь в свое прошлое, Робинзон просит у Бога только избавления от бремени грехов, лишившего покоя его душу. Об избавлении от одиночества он больше не молился, таким пустиком стало оно ему казаться.

Но ведь вот что любопытно, то же самое произошло и с Игорем: попав в плен, он переосмыслил свою жизнь, и она ужасну-

ла его. Ипатьевская летопись в Повести о походе Игоря сообщает, что князь после поражения раскаялся в своих грехах, воскликнув: «Вспомнил я о грехах своих перед Господом Богом моим, что немало убийств и кровопролития совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля... Но ныне вижу, что другие принимают венец мученичества, так почему же я – один виноватый – не претерпел страданий за все это? Но, Владыка, Господи Боже мой, не отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, Господи, такова и милость нам, рабам твоим». И вот если учесть этот покаянный монолог Игоря, легко догадаться, что он едет к Богородице Пирогощей поблагодарить Бога прежде всего за то, что тот услышал и принял раскаяние князя. Остается лишь заметить, что Даниэль Дефо написал свой роман четырьмя веками позже, чем было написано «Слово», и, конечно же, он не был знаком с последним. И удивительно, как совпадают иногда мысли больших мастеров.

Существует, наконец, и четвертый род намеков, которые, отсылая к летописным текстам, заставляют нас сделать вывод, отсутствующий в этих текстах, но предполагаемый логикой происходящего. Обратим в этой связи внимание на то, что в «Слове» постоянно звучит «стреловой мотив»: *рассушыась стрелами по полю; Се ветри Стрибожи внуци, веють съ моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы; Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрелы по земли сеяше; летять стрелы каленыя* и т. д. На первый взгляд это может показаться несколько странным. И вот почему. На вооружении русских воинов в XII веке состояли меч, топор и копье. Лук же не был широко распространенным оружием. Им не владели не только ополченцы, но, видимо, и многие дружинники. Поэтому во всех стычках с врагом на передний край выдвигались набранные в полках «стрельцы», умевшие обращаться с луком. В их задачу входило если не парализовать, то существенно ослабить действие стрелового удара врага и позволить своим воинам войти в непосредственное соприкосновение с противником. У кочевников, напротив, лук был принадлежностью всех воинов без исключения, которые учились владеть им с трех лет и со временем достигали

высокой степени совершенства в стрельбе! Но не станет же поэт воспевать мощь чужого оружия!

Упомянутая странность в нашем восприятии «стрелового мотива», однако, сразу же исчезает, стоит припомнить обращение Ярославны к солнцу с упреком, что оно *«В поле безводне жажду имь лучи съпряже, тугою им тули затче»*; и фрагмент из сна Святослава, которому снятся *«тощие тулы поганыхъ тльковинъ»* (т. е. нехристианских помощников Игоря - *ковуев*). Эти констатации героев «Слова» заставляют нас рассмотреть некоторые подробности похода Игоря, отраженные в летописях.

Обыкновенно считается, что поход Игоря был конным. Но такое мнение явно не учитывает летописной информации. На рассвете субботнего дня, когда стали подходить многочисленные половецкие полки, у русских дружинников была возможность спастись бегством, но все решили: «Если поскачем - спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед Богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся». Отсюда со всей определенностью следует, что у простых людей (т. е. ополченцев) коней не было, и поход был смешанным – конно-пешим. Об обозах летописные тексты вообще не упоминают, и исследователи не без основания полагают, что они вообще отсутствовали. Но если это так, стрел в отряде Игоря было очень мало - ровно столько, сколько уместилось в колчанах и седельных сумках. Напротив, у половцев их было более чем достаточно. Ведь не зря же автор «Слова» замечает: *«А половци неготовами дорогами побегоша къ Дону великому: кричатъ телегы полуноцы, рци лебеди ропущени»*. Именно в этих телегах доставляли военное снаряжение, в том числе и стрелы. И, естественно, когда на следующее утро многочисленные половецкие силы окружили русское войско Игоря, положение последнего оказалось просто катастрофическим: стрел не было или было очень мало, поскольку они были израсходованы в предшествующем бою, и половцы начали безнаказанный обстрел русских.

Наши современники иногда пренебрежительно относятся к луку и стрелам. Но в действительности это было очень грозное оружие. По свидетельству специалистов, стрелы сильного лука с

расстояния в 300 шагов пробивали толстую дубовую доску, а на 100 шагов они дырявили любые доспехи. Таким образом при прямом ударе от стрелы не спасали ни щиты, ни кольчуги.

И мы легко можем себе представить положение воинов Игоря, которым нечем было ответить на мощные стреловые удары половцев. Единственное, что они могли сделать, это спешиться, так как человек на коне представлял прекрасную мишень для лучника (только так можно объяснить, почему русские сошли с коней в предвидении приближающегося к ним конного половецкого войска!). Но такая защитная мера не могла быть эффективной, и войско Игоря было разбито. О такого рода развязке в памятнике ни слова. Но исследователи хорошо понимают, в чем здесь дело. Так, Д.С. Лихачев прямо пишет: «Горе вошло в колчаны русских воинов потому, что они были пустые, в них не стало больше стрел, все расстреляли. Если это так, то битва была безнадежно проиграна».

Но если авторские сигналы (вроде стрелового мотива) в «Слове» отсутствуют, отсылки к источникам становятся неразличимыми, и в итоге возникает облегченное восприятие смысловой структуры высказывания. Положим, нам встретился фрагмент «Слова»: *«Бориса же Вячеславича похвальба до суда довела и на Канину зеленое погребальное покрывало постла...»* Здесь представляется все понятным: славолубие никогда не было в числе достоинств человека. Но обратимся к «Лестнице» Иоанна Синайского – произведению, существовавшему в болгарском переводе X–XI вв. и получившему распространение на Руси лишь в XIV веке. В памятнике говорится о трех главных грехах: славолубии, сребролюбии и сластолюбии, причем славолубие на первом месте!

При анализе приема ассоциативного ввода внетекстовой информации рано или поздно мы сталкиваемся с вопросом: являлся этот прием индивидуальной находкой автора или же он был достаточно известным и использовался другими авторами. Судя по всему, следует предпочесть второй вариант ответа. Исследователи уже заметили, что русские пилигримы XIV–XV вв., оставившие после себя всякого рода Хожения в Царьград, описывая достопримечательно-

сти византийской столицы, никогда не комментируют свои наблюдения, поскольку полагаются на то, что читатели уже располагают необходимой информацией из других источников. С аналогичным явлением мы сталкиваемся и в живописи того же времени. Знаменитая «Троица» А. Рублева, как известно, основывается на библейской легенде о том, что престарелых Авраама и Сарру посетили три ангела, которые сообщили, что Бог пошлет им долгожданного наследника. Но напрасно мы стали бы искать на иконе Авраама и Сарру. Их здесь просто нет, они домысливаются зрителями, как домысливаются многие фрагменты «Слова». Тем не менее, хотя автор «Слова» и не был создателем рассматриваемого приема, его использование внетекстовой информации достигло высокой степени совершенства.

Правда, общераспространенным этот прием не стал, и к нему обращаются лишь отдельные авторы. В числе их находится В. В. Набоков. Исследователи его творчества отмечают, что уже в самых первых произведениях американского периода, в частности в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», чувствуется потребность не только просто в читателе, а в сообщнике, который владеет по крайней мере двумя (а лучше – четырьмя) языками, потому что в противном случае он не поймет многих спрятанных значений ключевых слов, многих важных намеков и отсылок. Конечно, у В. В. Набокова прием оказался основательно модифицированным, но в основе своей он остался тем же, что и у автора «Слова», поскольку предполагает совместное творчество писателя и читателя. Примечательно, что в начале XX столетия о своей приверженности к приему сотворчества автора и читателя заявил Е. Замятин, назвавший это прием синтетизмом. Однако реализовать в полной мере свои теоретические установки из-за ранней смерти он не успел.

И.П. РАСПОПОВ: ЧЕЛОВЕК, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ

Впервые опубликовано: «Учитель – начало всех начал: школа в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием». – Липецк, 2018. – С. 220–224.

Судьба была к Игорю Павловичу Распопову милостива. В предвидении скорого окончания войны там, наверху, призывников 1925 года рождения, среди которых был и он, пожалели – рассовали по отдалённым гарнизонам на учёбу. Игорь Павлович, направленный на какой-то тыловой аэродром, пробыл на нём год с лишним, так и не попав на фронт, хотя неоднократно подавал безуспешные прошения об отправке его на передовую.

Сразу после войны Распопов поступил на филологический факультет Куйбышевского пединститута. Жизнь была тогда голодная и холодная. Много позже он вспоминал, что в студенческом общежитии, в котором его поселили, зимой по утрам замерзала вода. И после подъема, стуча зубами от холода, сосед Распопова по комнате сурово обращался к бюсту В.Г. Белинского, на цоколе которого были начертаны его слова: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено жить в 1940 году...»:

– Не завидуй, Виссарион!

Но как бы там ни было, окончил пединститут Распопов круглым отличником, сталинским стипендиатом и был зачислен в аспирантуру к профессору А.Н. Гвоздеву, учебник которого по русскому языку во многих отношениях не устарел до сих пор.

Защитив кандидатскую диссертацию по вопросительным предложениям, Распопов после недолгих странствий (Благовещенск, Пятигорск) осел в Уфе и сразу же серьезно занялся наукой. Вскоре в столице и других городах заговорили о восходящей научной звезде и новом научном направлении, разрабатываемом И.П. Распоповым, – актуальном членении высказывания.

В 1964 году, в неполных сорок лет, Игорь Павлович защитил докторскую диссертацию «Актуальное членение и коммуникативно-синтаксические типы повествовательных предложений в рус-

ском языке» и осуществил свою давнюю мечту – переехал в университетский Воронеж – на родину своего отца. И вот в 1968 году для меня и для других лингвистов на факультете после его приезда в Воронеж наступили 14 счастливых и радостных лет жизни. Я и Распопов как-то подошли друг к другу и, несмотря на разницу в возрасте (десять лет), стали неразлучными друзьями. Он звал меня капитаном, а я его – почтительно – полковником.

Через недолгое время Игорь Павлович снискал не только уважение коллег и студентов. Его еще и полюбили. Очень часто (гораздо чаще каких-либо других провинциалов) он публиковался в «Вопросах языкознания». Это был главный (и что важно – всеми почитаемый) лингвистический журнал нашей страны, когда ещё не расплодились многочисленные (платные!) издания, рекомендованные ВАК, в которые редко кто и заглядывает. Регулярно выходили его книги, из которых основными были: «Строение простого предложения в современном русском языке» (М., 1970), «Очерки по теории синтаксиса» (Воронеж, 1973), «Методология и методика лингвистических исследований» (Воронеж, 1976), «Спорные вопросы синтаксиса» (Ростов н/Д, 1981). Распопов превосходно читал лекции, которые студенты слушали раскрыв рты (вместе с постоянно сидевшими на его лекциях аспирантами и молодыми преподавателями). Знали его во всех концах лингвистической ойкумены, даже зарубежной.

Правда, его любили не только за талант, но еще и за остроумие, за то, что он находил для всякого собеседника что-то приятное, причем не льстил, а говорил о чем-то действительно бывшем. Я однажды пошутил:

– Ну, полковник, ты даже и дурных людей способен ублажить. Он нахмурился и сказал:

– Мы все в России ходим трудными дорогами, и доброе слово никому не помешает.

Наблюдая теплое, задушевное отношение его к коллегам, студентам и всем тем, с кем он сталкивался, я немало удивлялся при чтении его работ. В них он был бескомпромиссен и даже суров со своими научными оппонентами, находил аргументы, не отразимые в научном споре. Я спросил, почему это так. Игорь Павлович пояснил:

– Моя задача – вспахать землю и уничтожить сорняки. Здесь миндальничать нельзя. А вот сеять – дело вашего поколения. Там и можно быть добрым.

А лингвистических сорняков было действительно много и особенно в рассуждениях о предмете синтаксиса – ключевой проблеме нашей науки...

В начале XX века выдающийся русский лингвист А.А. Шахматов, определяя предмет синтаксиса, констатировал, что синтаксис имеет дело с двумя единицами – словосочетанием и предложением. Теперь, с высоты лет, видно, что это решение носило, скорее всего, тактический характер. Оно было продиктовано стремлением не дать окончательно разойтись двум сложившимся лингвистическим традициям – традиции, идущей от Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни, которые считали предметом синтаксиса предложение, и традиции, восходящей к Ф.Ф. Фортунатову, который ставил во главу угла словосочетание, полагая, что предложение в конструктивном плане является всего лишь одним из видов словосочетания. Однако в дальнейшем эта мысль А.А. Шахматова была канонизирована (тактика трансформировалась в стратегию), и учение о двух рядоположных единицах синтаксиса восприняла не только научная, но и вузовская, а за нею и школьная грамматика.

И.П. Распопов был категорическим противником такого подхода к синтаксису, подчёркивая, что в синтаксисе «всё вращается вокруг предложения», которое должно изучаться в самых разных аспектах: с точки зрения его специфических свойств, его внутренней устроенности, его преобразований, обусловленных необходимостью связать данное предложение с другими предложениями в тексте, и т.д. Именно в процессе такого аспектного изучения предложения в поле исследовательского зрения попадают другие синтаксические элементы, например словосочетание и сложное синтаксическое целое, которые являются не номинативными элементами, подобными слову, а феноменами операционного характера, извлекаемыми из предложения в определённых методических целях – для анализа комбинаторики слов и форм слова. Но эти единицы нерядоположны с предложением – главным «героем» синтаксиса, поскольку они представляют собой явления совсем иного

(второго или третьего) ранга. Соображения И.П. Распопова были сочувственно встречены лингвистической общественностью ещё при его жизни, хотя влияние шахматовских идей не преодолено до сих пор. Вузовская теория иногда продолжает кланяться поверженным кумирам – по привычке и под влиянием совершенно устаревших учебников.

Вместе с тем определение синтаксиса как науки, изучающей предложение, имело далеко идущие последствия. Оно поставило на повестку дня вопрос: что же такое предложение и как этот феномен устроен? И вот, перечитывая работы И.П. Распопова, мы опять с удивлением констатируем, что и здесь его идеи намного опередили время.

Вернёмся мысленно в 60-е годы XX столетия, когда происходило формирование общих и частных взглядов И.П. Распопова. Ментальный «ландшафт» синтаксической науки той поры был уныл и однообразен. Она работала исключительно в русле формально ориентированного подхода и в соответствии с ним пребывала в счастливой уверенности, что существо предложения определяет признак предикативности. Его значение и назначение видели, вслед за В.В. Виноградовым, « в отнесении содержания предложения к действительности» и не уставали повторять, что такое отнесение обеспечивают синтаксические категории модальности, времени и лица. Оставалось, однако, неясным, каков же внутренний механизм самого явления, обнаруживающегося в указанных категориях. По этому поводу то и дело (особенно в начале 70-х годов) возникали многочисленные дискуссии. Решения предлагались самые разные: в одних случаях это были простейшие косметические операции на теле виноградовских идей, в других – полное отрицание последних.

В этих условиях И.П. Распоповым было выдвинуто учение о двух аспектах предложения: конструктивно-синтаксическом и коммуникативно-синтаксическом – учение в известном смысле ставшее провозвестником грядущей семантизации синтаксиса, которая стала нашим лингвистическим сегодня. Конструктивно-синтаксический аспект предложения, по мысли И.П. Распопова, составляют связи словесных форм и отношения, которые этими связями выра-

жаются. Соответственно коммуникативно-синтаксический аспект предложения образуют специфические свойства предложения как единицы сообщения, задаваемые тремя категориями: целевого назначения, модального качества и коммуникативной перспективы (иначе – актуального членения).

Мысль о двуаспектности строения предложения, высказанная И.П. Распоповым (и имевшая только одну предшественницу в мировой лингвистике – теорию Ш. Балли, предлагавшего различать в предложении диктум и модус), довольно быстро получила поддержку значительной части отечественных и зарубежных лингвистов. Сквозь призму своей теории Распопов увидел не только новые факты, но и новые решения старых проблем. Это замечаешь, когда сталкиваешься с его интерпретацией самых разных синтаксических феноменов: односоставных предложений, сложных конструкций, второстепенных членов, синтаксических связей и отношений и т.д. Такая широта исследовательского фронта глубоко закономерна, поскольку его синтаксические взгляды представляют собой не набор отдельно взятых частных концепций, а достаточно реалистичную, логически безупречную систему, которая активно работает на самых разных синтаксических участках.

Около 20-25 лет назад мысль о двучастном строении предложения И.П. Распопова – уже без него – претерпела как бы своё второе рождение – на этот раз в рамках семантизированного синтаксиса, поставленного логикой вещей перед необходимостью различать номинативные и прагматические свойства предложений. Но посев новых идей, который И.П. Распопов вменял в обязанность следующему поколению учёных, неожиданно прекратился. Юношеский лингвистический задор 60-х – начала 70-х годов совершенно угас, и синтаксические реки и ручейки в наши дни почти полностью пересохли. В этом убеждает анализ квалификационных работ молодых учёных. В них синтаксическая проблематика почти не обсуждается: они сплошь посвящены каким-то частным коммуникативным проблемам. Не буду говорить о причинах этого: такие причины и мне самому не вполне ясны. Остаётся надеяться на время, которое всё рано или поздно расставит по своим местам. А пока вернёмся к прерванному разговору о Распопове.

Нетрудно заметить, что как бы Игорь Павлович глубоко ни погружался в бездны лингвистической теории, его не покидала никогда мысль: он работает не в академическом учреждении, а в вузе, где находки учёного в первую очередь адресованы студентам. На студентов были ориентированы его блестящие, «без бумажки» лекции. С думой о студентах он писал свои методические работы, небольшие учебные пособия и разработки отдельных тем. И я не удивился, когда он предложил мне взяться вместе с ним за создание учебника по русской грамматике. Я с радостью согласился, и Распопов рьяно взялся за дело, подстёгивая меня, когда я, по его мнению, сбавлял темпы работы. Увы! Заканчивать наш совместный труд мне пришлось одному. «Основы русской грамматики. Морфология и синтаксис» вышли после его смерти в 1984 году. И я счастлив, что по этому учебнику с идеями Распопова знакомятся наши сегодняшние студенты, хотя после его смерти прошло уже 36 лет.

Работал Игорь Павлович регулярно и систематически, не делая разницы между буднями и праздниками. К этому уже привыкли, и мало кто заметил, как сильно пошатнулось его здоровье. Он дважды лежал в больнице. Не помогло. И когда в конце лета 1981 года он приехал с отдыха в Калининграде, я поразился: передо мной стоял не веселый жизнерадостный человек, каким он был всегда, а какой-то серый, мрачный старик с клюкой в руках, хотя ему не исполнилось и шестидесяти.

Первый раз в жизни он пожаловался мне:

– Теряю память. Да и песни забываю.

А к песням у него, отнюдь не лишённого поэтического дара (ему принадлежит прекрасный стихотворный перевод «Слова о полку Игореве», напечатанный в «Учёных записках Куйбышевского пединститута») была особая любовь. Я вспоминаю, как он пел своим негромким голосом – необыкновенно задушевно – «Облака плывут, облака» А. Галича, и вот...

Жизнь между тем текла своим чередом. Работа на кафедре русского языка как иностранного мне порядком надоела, и я принял приглашение возглавить кафедру русского языка в Тартуском университете. Оставалось только съездить на место – узнать, что и

как. За дня два до отъезда Игорь Павлович после работы зашел ко мне. Мы сели за шахматы. Но партия «не пошла». Чувствовалось, что Распопов оттягивает начало какого-то серьезного разговора. Потом он решился:

– Капитан, я думаю, тебе не стоит ехать в Тарту. Я чувствую себя плохо и скоро уйду с заведования. Хочу, чтобы ты сменил меня.

Я стал отнекиваться, но он был настойчив и добился от меня обещания подумать. Мы перевели разговор на другие темы. Но он неизменно оказывался печальным. Ни с того ни с сего Игорь Павлович припомнил неожиданную смерть отца. Потом упомянул покойную мать, покинувшую их с отцом, когда тот, московский певец, в одночасье потерял голос и когда Игорю только-только исполнилось шесть лет.

Простились мы поздно – в 11 вечера. Возвратившись домой, Игорь Павлович починил некстати сломавшуюся ручку чайника, отказался от ужина и прилег в кабинете на диван. Домашние его потом рассказывали: он часто вставал, пил воду, читал. А утром его нашли мертвым. На столе, стоявшем рядом с диваном, лежали очки и раскрытый томик К. Симонова.

Наиболее значимые труды А.М. Ломова

1. Основы русской грамматики: Морфология и синтаксис. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. – 352 с. – 22 п.л. (учебное пособие)
2. Очерки по русской аспектологии / А.М. Ломов . – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1977. – 139 с.
3. Типология русского предложения / А.М. Ломов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. – 277 с.
4. Русский синтаксис в алфавитном порядке: понятийный словарь-справочник / А.М. Ломов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 399 с.
5. Словарь-справочник по синтаксису современного русского языка / А.М. Ломов и др. – Москва : АСТ: Восток-Запад, 2007. – 412 с.
6. «Слово о полку Игореве» и вокруг него: монография / А.М. Ломов ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 244 с.
7. «Слово о полку Игореве» и его автор: монография / А.М. Ломов. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 141 с.
8. «Слово о полку Игореве» и его автор: монография / А.М. Ломов. – 3-е изд., доп. – Москва : Флинта, 2020. – 293 с.
9. «Слово о полку Игореве» и его автор: монография / А.М. Ломов. – 4-е изд. – Москва: Флинта, 2022. – 293 с.
10. Типология русского предложения: монография / А.М. Ломов. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 287 с.
11. Типология русского предложения: монография / А.М. Ломов. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2022. – 280 с.
12. Очерки по русской аспектологии: монография / А.М. Ломов. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 141 с.
13. Путеводитель по русской орфографии / Е.П. Артеменко [и др.] ; отв. ред. А.М. Ломов. – Москва : Восток-Запад : АСТ, 2007. – 220 с. – (Саморепетитор).
14. Путеводитель по русской пунктуации : всем, кто стремится в совершенстве овладеть русским языком / Е.П. Артеменко [и др.] ; отв. ред. А.М. Ломов. – Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 189 с. – (Саморепетитор) .

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (Ж. В. Грачева).....	3
Газета и разговорный стиль	11
Диалог в системе преподавания разговорной речи иностранцам	23
О характере использования разговорных средств в языке газеты.....	26
Письменные эквиваленты разговорных конструкций в языке газет	29
Части речи в их отношении к предложению	32
Лингвистическая наука: прошлое и настоящее	46
Лингвистика и аналитическая философия	57
Грамматика: содержание и объем понятия.....	70
Две жизни одного человека.....	74
Предложение и высказывание	92
Языковая история и проблема интерпретации синтаксических единиц	95
Русистика сегодня.....	103
Размышления о высказывании	106
Высказывание и его инотекстовые актуализаторы в «Слове о полку Игореве».....	112
И.П. Распопов: человек, учёный, педагог.....	124
Наиболее значимые труды А.М. Ломова	131

Научное издание

Ломов Анатолий Михайлович

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Составители:

Ломова Татьяна Михайловна,

Кузьменко Павел Борисович

Автор предисловия –

Грачева Жанна Владимировна

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 27.02.2023. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 8,8. Тираж 400 экз. Заказ 641

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3